

Борис Лавренев.

ЛЮДИ
ПРОСТОГО
СЕРДЦА

Гослитиздат — 1943



Борис Лавренев

Л Ю Д И
П Р О С Т О Г О
С Е Р Д Ц А

РАССКАЗЫ

О Г И З

*Государственное издательство
художественной литературы*

Москва 1943

СТАРУХА

Когда девять друзей, радистов морского полка, пришли на Шароновские хутора, обнаружилось, что никаких хуторов в указанном месте нет. Хутора существовали лишь в условном обозначении на штабной карте. На местности же не осталось ничего, кроме скошенного, поваленного, раздробленного леса вокруг, глубоких воронок, налитых рыжей, как кофе, болотной водой, груд кирпича от разрушенных печей да сухого, горького пепла, носимого ветром.

Над хуторами потрудились и артиллерия и самолеты, а dokonчили разрушение немецкие факельщики, которые в час бегства сожгли все, что еще уцелело.

Поэтому странно и удивительно было обнаружить в самой середине горелого пустыря новую, крепко слаженную из красных сосновых бревен, не успевших еще потемнеть от непогод, не тронутую металлом и огнем избу Сухониных.

Выползши из обугленного бурелома на поляну, радисты в недоумении смотрели на эту избу, которая высилась среди пожарища, как памятник, воздвигнутый над уничтоженным поселком. Они еще больше удивились, когда заметили у избы женщину. Она была занята хозяйственным делом: вставляла в раму окна собранные на пепелище куски

стекло, склеивая их для прочности полосами старых газет. Присутствие живой души в этом гиблом месте было так же непонятно, как наличие целой избы.

Когда радисты подошли ближе, они увидели неизмеримо худую, жалкую старуху. Из-под холщевой косынки на морщины ее втянутых щек свисали прямые седые космы. Потухшие глаза ввалились в орбиты, и взгляд их был мертвенно равнодушен. На ней болтались грязные и рваные лохмотья, сквозь которые просвечивало иссохшее желтое тело. Приход моряков не произвел на нее никакого впечатления. Она лишь слегка покосилась на них и продолжала свое занятие.

Старшина команды Виноградов, неутомимый балагур и остряк, сняв бескозырку и изящно помахав ею перед собой, как мушкетер Людовика XIV, шаркнул ножкой и бодро сказал:

— Краснофлотский привет с зеленым горошком, бабушка! Вышло нам приказание стать на якорь в данном населенном пункте. Как видится, ваш дворец тут единственный, а населения тоже одна человекоединица. А мы — геройские морячки, которые военными обстоятельствами вынуждены временно покинуть любимый линкор «Марат» для пешего времяпровождения. Принимаете жильцов?

Старуха пожевала губами, и моряки увидели, что рот у нее пустой, беззубый. Шепелявя и шамкая, она вяло ответила:

— Живите! Мно што? Изба просторная, места хватит. Вы по себе, я по себе.

Виноградов досадливо поскреб затылок.

— Даже странно, бабушка, слышать от вас подобный индифферентизм к бойцам. Что значит: «вы по себе, я по себе»? Неужто в вашем сердце, вместо черствого отношения, не разыграется материнская жалость к нам?

Радисты захохотали, но старуха продолжала смотреть на Виноградова тусклым и безжизненным взглядом. Потом вздохнула, и в груди у ней заскрипело, словно отворялась несмазанная дверь. Так же вяло она промолвила:

— Живите! Коли што надо, — сделаю.

И шаткой походкой, еле передвигая худые ноги под драной юбкой, старуха медленно вскарабкалась на крыльцо и исчезла в избе.

— Жизнерадостная старушка! — огорченно констатировал Виноградов. — Чисто Марлен Дитрих! Веселая житуха будет нам в этом месте, годки. Ну, ничего не поделаешь — приступаем к исполнению служебного долга.

Всю ночь радисты провозились с установкой аппаратуры и опробованием связи. И всю ночь слышали, как в горенке, направо от сеней, кашляла, кряхтела и стонала старуха.

— Видать, натерпелась бабка, — хмуро сказал рябоватый сибиряк Перегудов, прислушиваясь к непрерывным стонам. — Сколько немцы тут властвовали? Месяцев семь, поди? Вполне хватит. Дерев засохнут, не только старуха.

— Помрет еще, — не то предположительно, не то утвердительно высказался Костя Малинин, — подкормить, братки, надо будет старушеницу. Ведь она, если подумать, — верняк чья-нибудь мать. Может, ее сын где-нибудь на другом краю фронта нашим матерям подмогу оказывает.

— Ага, — подтвердил Виноградов, — правильно. Напишем бабуся в организм прибавочных ценностей, так она еще плясать с нами будет. Усыновляемся, ребятки, при ней — и шары на стоп!

С утра девять моряков наперебой стали ухаживать за старухой. Они чинили избу, таскали из лесу хворост, приколотили прясла к столбам, вы-

чистили колодец, поправили надтреснутую печь и затопили ее. Разведя в ведре кипятку гороховый концентрат со свининой и в медном чайнике — шоколадные кубики, радисты сели за стол и насильно усадили с собой старуху, которая долго отнекивалась и упрячилась. Но ей было не совладать с дружным напором девяти веселых моряков, которые наливали ей суп и шоколад, мазали салом хлеб и потчевали безустали. Угрюмые старушечьи глаза немного потеплели к окончанию трапезы. Она тщательно вытерла свою ложку концом холщевой косынки, встала, сложив руки на впалом животе, и низко поклонилась морякам:

— Спасибо, милые!

И друзья увидели, как по рытвинам морщин старухи потекли слезы. Радисты ощутили душевное смятение, и Виноградов конфузливо сказал:

— Не благодари, бабушка, и не надрывай нам душу рыданиями. Мы к тебе, прямо скажу, с корыстными целями подъезжаем. Люди мы военные и непрактичные. Нужно нам и постирать и подштопать, а руки наши до этого не расположены. Так вот: устроим жизнь на началах братской эксплуатации. Осуществим, так сказать, утопию.

Старуха взглянула на Виноградова и впервые, чуть приметно, улыбнулась.

— Веселый товарищ, — шамкнула она.

— А то? — ответил Виноградов. — Невеселому жить трудно, бабушка.

Вскоре радисты сжились со старухой так, словно действительно с малых лет росли в избе, под материнским кровом. И сама старуха начала оживать и уже охотно разговаривала с моряками, но всячески избегала расспросов о перенесенном за время жизни под немцами. При упоминании об этом она замыкалась, мертвела и плакала. Заметив это, Виноградов однажды сказал друзьям:

— Замечаю, что некоторые проявляют неделикатность обращения с мамашиними нервами. Лезут расспрашивать, как ей при немцах жилось. Надо ж понимать, что старухе такие расспросы, как гвоздь в пятку. И чего ей память злом ворошить? Мы кто — бойцы или корреспонденты? Ну и баста мучить благодетельницу. Голосую: кто за, а против быть не может.

С тех пор по молчаливому уговору никто из девяти не задавал старухе вопросов о немцах. А она отдавала всю душу девяти морским «малюткам» — стирала им белье, чинила и латала, варила пищу. словом, делала все, что полагается рачительной хозяйке, и моряки жили при ней в тепле и уюте родного гнезда. Они привыкли к изможденной старой женщине и накрепко привязались к ней. Они делились с ней своими мыслями, читали ей письма из дому, спрашивали советов и поверяли самые сокровенные тайны.

Однажды, после обеда, когда старуха, убрав со стола, вышла на огород полоть картошку, Перегудов, поглядев ей вслед, покачал головой и сердито сказал:

— Пора, братки, о мамаше всерьез подумать. Обносилась, — вишь, в какой рвани ходит. Мы тут не заживемся, а она с холодами пропадет, застудится. На нашей душе грех будет. Обмундирование ей надо справить. Соберем барахлишко, какое нам но нужно.

— Что ж, ты ее в штаны-клевш сунешь? — захохотал Малинин.

— Видать дурака по речам, — отрезал Перегудов. — Зачем в клеш? Женское надо пошить. Лузгин в дамской ателье работал. Может для старухи постараться.

Предложение понравилось. Морячки порылись в своих мешках и собрали две пары старых брюк,

форменку, три тельняшки. Виноградов отдал ношенный, но крепкий бушлат. И Лузгин сел за работу. Так как решили поднести старухе обмундирование сюрпризом, то работал Лузгин на чердаке, украдкой, а на чердачной двери пришили табличку: «Секретная часть, вход воспрещен». А для примерки и пригонки приспособили Ваню Клейменова, малорослого и худощавого электрика, по комплекции схожего со старухой. Через неделю Лузгин закончил работу. В добротной суконной юбке и такой же синей кофте с отложным воротником Клейменов выглядел совсем нарядно, а когда надел пальто в талию, перекроенное из вывернутого наизнанку бушлата и вторых брюк, — все признали мастерство Лузгина. Из тельняшек Лузгин смастерил две полосатых блузки, приправленных вставками из цветистых шелковых носовых платков, купленных Перегудовым еще до войны в Риге.

Обнову бабке вручили торжественно, перед строем друзей, и Виноградов произнес короткую, но горячую речь.

— Уважаемая и, так сказать, подаренная нам природой приемная мамаша! Не побрезгуйте нашим даром. Мы — люди простого сердца и без всяких фокусов — хотим облегчить вашу дряхлую старость. Переодевайтесь и носите на здоровье, а хламье ваше то ли выкиньте, то ли припрячьте под слудом, пока мы не оденем в него того чорта Гитлера и поведем его на веревочке.

Старуха дрожащими руками приняла от Виноградова аккуратно уложенные наряды, хотела что-то сказать, но всхлипнула и с нестарческой быстротой юркнула в свою горенку.

— Ничего! — сказал Виноградов. — Пусть выплачется с радости.

Когда переодетая старуха появилась перед моряками, она показалась им совсем иной. Выпрями-

лась ее согнутая спина, в глазах появился блеск и даже беззубый рот заулыбался моложе.

С этого дня старуха стала еще прилежней соблюдать своих приемов.

Как-то Виноградов решил помыться в крошечной пристроечке к сеним, где радисты устроили себе баньку, поставив стиральную лохань, найденную под развалинами клуни на одном из дворов. Поместив рядом с лоханью ведро теплой воды, старшина яростно терся мочалой, и пышные брызги пены снежками прилипали к стене. Но Виноградов никак не мог хорошо натереть спину. В тщетных усилиях добраться мочалой до ямки между лопатками старшина вдруг заметил через неприкрытую дверь баньки проходящую со двора в избу старуху.

— Эй, бабуся, — позвал Виноградов, — не в службу, а в дружбу: намыль-ка мне, дорогая, спину. Никак до нее не дорвусь.

Старуха остановилась у дверцы и не сразу ответила.

— Неловко, милый, — сказала она, наконец, — женщина ведь я...

— Ну-ну, — перебил, смеясь, Виноградов, — не стесняйся! Какая ты женщина, коли счет годам потеряла? Я для тебя вроде грудного дитяти...

— Ладно, — сказала старуха, открыв дверцу и засучивая рукава, — давай уж, что ли, раз ты такой нескладный...

Она схватила намыленную мочалу и стала сильно и ловко тереть спину старшины. Виноградов сидел в лохани, крикая и сладко щурясь, как кот, которому чешут за ухом, и удивлялся, откуда у старухи взялось столько силы. Натерев кожу старшины чуть не до крови, старуха быстро скрылась, не дожидаясь благодарности.

— Ишь ты, — заметил сам себе старшина, —

застыдилась наша древность. Выходит, что баба до смерти есть баба.

И, высказав это своеобразное мнение о вечной женственности, Виноградов вылез из лохани.

Так прожили девять друзей у старухи, пока не пришел приказ передвигаться на новое место. Узнав, что ее нареченные сыновья покидают дом, старуха впала в прежнюю угрюмость.

— Да не навеки ж расстаемся, бабушка, — пытался утешать ее Виноградов, — мы вас нынче до гроба не забудем. Кончится война — вызволим вас отсюда, и живите, у кого из нас понравится, а то у каждого по очереди, чтоб обиды не было.

Но старуха не слушала утешений. Она сидела на крылечке, подпирая голову высохшими руками, и печально смотрела на зеленеющий за поляной лес. Вечером, погрузив имущество на двуколку, радисты собрались в путь. Виноградов подошел к старухе.

— До скорого свиданья, бабуся! Не поминайте лихом. От всего нашего коллектива благодарны вам за материнскую вашу ласку, за любовь. И ожидайте нас в обрат. Возраст ваш, конечно, большой, но надеемся свидеться. Мы вам писать будем, да и вы в кой раз весточку пришлите, чтоб мы знали, как ваша жизнь идет.

Он обнял старуху. И вдруг она охватила его шею, прижалась дряблой щекой к щеке Виноградова и вся затрепетала в судорожном плаче. И сквозь плач моряки услышали захлебывающиеся жалобные слова:

— Родные вы мои! Милые мои товарищи! Что ж я делать без вас стану? словно ко мне жизнь вернулась, пока вы тут были, а теперь хоть опять в могилу.

— Ну, что вы, бабуся?! Успокойтесь... Зря такое говорите, — шутливо ответил Виноградов, по-

глаживая старуху по костлявой спине, — в могилу? Да вам еще до ста лет годков тридцать жить осталось.

— Господи, — вскрикнула старуха, стремительно отскочив от старшины и закрывая лицо, — господи, доколе ж такая мука? Что же это? Да знаете ли вы, сколько мне лет? Все меня мамашей да бабусей называете, а ведь мне тридцати трех еще нет... Вот что немцы со мной сделали!

И сама испуганная неожиданным признанием, она с силой рванулась из рук Виноградова, вскочила в избу и с грохотом захлопнула дверь.

Моряки стояли ошеломленные, притихшие, избегая взглянуть друг на друга. Лица у них потемнели, и кожа туго обтянула скулы. Виноградов медленно поднял руку и снял бескозырку. Восемь друзей безмолвно повторили его движение. Они, не отрываясь, смотрели на закрытую дверь избы, как смотрят на могильный холмик над дорогим человеком.

Потом Виноградов тихо и глухо, как будто ему не по силам было выговорить, сказал за всех:

— Прости, сестра!

Он рывком напялил бескозырку, и радисты не узнали своего лихого, беззаботного дружка. Щеки Виноградова точно покрылись серым чугунным налетом, и он отдельно, как слова присяги, выговорил:

— Ну, годки, нет нам возврата в родные дома, пока не сделаем так, чтоб все их фашистские суки поседели до срока и сдохли, воя над своей фашистской падалью... Пошли! Марш!

Девять моряков пересекли поляну, ускоряя шаг, не оглядываясь, страшась увидеть на пороге избы оставленную там женщину.

Сентябрь 1942 г.

ПОДВИГ

Несчастье случилось в шесть ноль-ноль.

Оно было записано в вахтенном журнале флагманского эсминца с исчерпывающей жесткой точностью: «6-00». «Стремительный» подорвался на минной банке на траверзе маяка Лонгруд. По донесению командира — держится на плаву. Убитых семь, раненых шестнадцать. Командир соединения приказал: «Стремительному» остаться на месте, исправлять повреждения. Остальным продолжать операцию».

Это было все, что занесла в журнал вздрагивающая от волнения рука вахтенного командира «Сурового». Вахтенный журнал не знает чувств и эмоций. Он отражает только факты.

Если же рассказать последовательно, дело было так.

За несколько минут до шести командир соединения, капитан второго ранга Маглидзе, приказал поднять сигнал: «поворот последовательно влево на восемь румбов».

«Смелый» и «Стремительный», шедшие в кильватере за флагманом, отрепетовали сигнал. Цветные флажки резво затрепетали по ветру на ноках усов и слетели вниз. На «Суровом», одновременно с началом поворота, взвился «исполнительный». Эсминец круто покатился влево. Отброшенная заносящейся кормой сердито зашипела и заплескалась пена.

Капитан второго ранга Маглидзе перешел на левое крыло мостика, наблюдая за выполнением поворота кораблями. «Смелый», идя в кормовой струе флагмана, точно повернул в том месте, где эта струя образовывала крутой изгиб бледнозеленой, пенистой от воздушных пузырьков воды. «Стремительный» сразбегу проскочил точку пово-

рота, и Маглидзе поморщился. Он не любил небрежности в эволюциях. В море каждое движение корабля и человека должно быть выверено до микрона. «Резвится, рысак, — с неодобрением подумал он о командире «Стремительного», — а зачем резвится? Море не ипподром и...»

Он не успел додумать. Из-под форштевня «Стремительного» упругим белым столбом рванулась кверху вода. Столб этот вспух у основания кипящим куполом. Сквозь него сверкнуло желтое пламя, выбросив второй столб, уже черный от дыма. Он заволок весь корабль, и тотчас же в уши стоящих на мостике «Сурового» ударило плотным раскатом взрыва.

Штурман, подскочив к переднему обвесу, заметил, как судорожно скрючились пальцы командира соединения на поручнях мостика и как посинели ногти на этих стиснутых пальцах.

Туча воды и дыма опадала с шуршанием и плеском. Из нее медленно выползал корпус «Стремительного». Его носовая часть была оторвана до мостика. Отделенный от корабля полубак быстро уходил в клокочущий водоворот. Изогнутый взрывом гюйсшток продержался еще секунду над водой. Потом и его захлестнула волна.

«Стремительный» вышел из дыма весь и стоял с небольшим дифферентом на нос. «Суровый» и «Смелый», убавив ход, держались на последнем курсе. С них хорошо был виден исковерканный мостик «Стремительного». По свернутому в железный рулон настилу палубы под мостиком карабкалась чья-то фигура.

— Разрешите застопорить и спустить шлюпки? — неестественно громко и от волнения пропустив титулование, спросил у Маглидзе командир «Сурового» капитан-лейтенант Голиков, не отрывая взгляда от подорванного эсминца.

— Не разрешаю!

Маглидзе резко сбросил руки со стоек, как будто обжегся о раскаленный металл, и повернулся к командиру эсминца.

— Удивляюсь, товарищ капитан-лейтенант! Вы не первый год на службе и должны бы знать боевые инструкции.

Капитан-лейтенант Голиков покраснел. Боевые инструкции он помнил на зубок и знал, что они запрещают в такой обстановке вадерживаться и спускать шлюпки для подачи помощи подорванному кораблю, следующему в составе соединения. Это был суровый, прозаический закон новой морской войны, который навсегда отменил жертвенную традицию: «сам погибай, а товарища выручай». Этот кодекс благородного самопожертвования был опорочен во всех флотах с того сентябрьского дня четырнадцатого года, когда дряхлая подводная лодка Отто Веддигена тремя последовательными атаками отправила на дно три британских крейсера. Крейсеры доблестно следовали романтической этике, неподвижно стоя на месте и спасая людей с подорванного первым «Хуга». И, один за другим, разделили его судьбу.

Капитан-лейтенант Голиков теоретически понимал всю целесообразность суровой инструкции, но сейчас, перед лицом гибели товарища, он на мгновение усомнился в ней. Замечание командира соединения вернуло ему ясность мысли. Лучше потерять один корабль, чем три. Дело сводилось к тактической арифметике.

— Запросите «Стремительный» о повреждениях и сумеет ли он справиться? — приказал Маглидзе.

Старший сигнальщик с необыкновенной быстротой отмахал флажками вопрос. Ответ на мостике «Сурового» читали все с тоскливым напряжением, по буквам, беззвучно шевеля губами.

— О-т-о-р-в-ан по-лу-бак... Пе-ре-бор-ка пер-вой кочегарки вдавлена. Течь незначительна.. полагаю возможным удержаться на плаву своими средствами.

Сдвинутые брови командира соединения разошлись.

— Оглично, — сказал он, — передайте: «Приказываю оставаться на месте, ожидать возвращения отряда»

— Есть!

Голиков поглядел в сторону «Стремительного». Изуродованный корабль тихо покачивался на пологой зыби. Голиков подумал о командире «Стремительного» Васе Калининe, о незабвенных годах морского училища и тихо вздохнул. Скучно сидеть в одиночестве, среди пустого моря, на искаленном корабле, ожидая, что любая забредшая в район происшествия вражеская подводная лодка может окончательно отправить тебя на кормежку ракам. Надо же попытаться хоть что-нибудь сделать для облегчения этой пытки друга.

— Товарищ капитан второго ранга, — нерешительно предложил Голиков, — может быть, радировать базе, чтобы выслали поддержку?

— Не разрешаю, — вторично отрезал Маглизе, — операция продолжается. Натремим в эфире, немцы запеленгуют, и получится лишняя хурда-мурда. А нам нужно ставить заграждение. Это основная наша задача. Забыли, чем мы нагружены? Повезло «Стремительному», что напоролся носом. А если бы кормой?.. Ну, так пусть поскучает.

Капитан-лейтенант Голиков сразу вспомнил о грузе и ощутил противный холодок, иголочками проползший под кителем. На корме «Стремительного», как и на других эсминцах, стояли на рельсах готовые к сбросу мины. Их было шестьдесят. Если бы они рванули от детонации...

Голиков поежился и в раздумьи тряхнул головой.

«Впрочем, погода тихая, неприятельские подлодки здесь особенно не разгуляются — мелководье. А мы больше трех часов не провозимся, так что успеем вернуться и подать Васе кончик, если он продержится... А если нет? Если сдаст переборка? Шлюпки, наверно, искалечены взрывом, придется плавать с поясами и капком. Но долго ли ироплаваешь?»

Голиков сердито отвернулся от уменьшающегося силуэта покидаемого эсминца. Больно покидать товарища в беде, но этого требует железная необходимость войны. Нужно делать свое дело. Нужно думать о своем корабле и своих людях.

— За секторами внимательно смотреть! — крикнул он наблюдателям, и те одновременно отозвались не веселыми, как всегда, а приглушенно серьезными голосами:

— Есть за секторами внимательно смотреть!

Голиков искоса взглянул на командира соединения. Тот стоял, посасывая трубку, немного грузный от возраста сорокадвухлетний человек с неподвижным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть.

«Каменный характер, — внутренне возмутился Голиков, — не волнуется даже». Но он ошибался. Штурман, который подметил внезапную судорогу пальцев командира соединения в момент взрыва «Стремительного», мог бы сказать ему об этом.

Командир соединения волновался. И со вчерашнего вечера, — когда пришлось грузить мины не в оборудованной гавани, которую третьи сутки бомбили вражеские самолеты, а в глухой бухточке, где не было никаких приспособлений и мины втаскивали на палубы вручную, — это волнение не прекращалось ни на секунду. Командир соединения

даже не вздремнул в эту тревожную белую ночь, в сумраке которой краснофлотцы, крикая от натуги, волокли по мосткам черные шары, начиненные гремучей смертью. Он волновался за этих трудолюбивых, как муравьи, молодых ребят, за свои корабли, за успех намеченной операции. И несчастье со «Стремительным» еще, больше взволновало его, прежде всего потому, что оно произошло с кораблем его любимца, самого лихого командира эсминца на всей Балтике. И еще потому, что это угрожало лишить поход всякого смысла; вместо ста восьмидесяти мин приходилось теперь ставить только сто двадцать, а это уже на треть уменьшало вероятность гибели неприятельских кораблей на заграждении. Командир соединения волновался за всех, но только не за себя. О себе он привык не думать.

Он оглянулся на чуть видный за кормой силуэт «Стремительного».

«Дрянной щенок! Прекрасный моряк, но чересчур самонадеян... Этому ли он, капитан второго ранга Маглидзе, учил своих командиров... Вчера он радовался, что командир «Стремительного» первым закончил погрузку мин, намного обогнав остальных... А теперь?!»

Маглидзе шагнул к обвесу и свирепо выколотил пепел из трубки в отрезок снарядной гильзы, приспособленный для пепельницы.

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта старший краснофлотец Рудняк. Его голос прозвенел неожиданно резко в тишине мостика, нарушаемой только сухим шелестом испаряемой эсминцем воды:

— Справа по носу, курсовой десять — дым!

Вытянутая рука Рудняка указала направление.

Маглидзе, Голиков и штурман разом вскинули бинокли. И в окулярах у всех троих обнаружилось

одно и то же: палево-голубая, бледная полоска горизонта, дрожь нагретого воздуха над ней, и в этих плывучих струйках еле заметное мутносерое облачко.

Маглидзе опустил бинокль. Горбоносое лицо его с тяжелым подбородком — от загара оно превратилось в закопченную бронзу — еще больше затвердело и отяжелело.

— Боевую тревогу! — обронил он вбок, Голикову.

По корпусу корабля горячечным трепетом промчались звуки колоколов громкого боя. Они еще бились и дребезжали, а уже, глуша их, по палубам и трапам раскатывался грохот каблуков. Расчеты орудий торопливо снимали брезенты со снарядов и пероховых картузов. Медные головки снарядов заблестели под солнцем. Орудия медленно и бесшумно развернулись на правый борт, задрав в синеву длинные стволы. Было похоже, что эсминец, как осторожный жук, высунул наружу чуткие усики и прощупывает ими воздух. На корабле стало тихо, как в поле перед грозой.

Флагманский артиллерист, старший лейтенант Слинко, очень юный, с нежным яблочным румянцем, какой бывает только у девушек, подымался в башенку поста управления огнем, цепляясь правой рукой за перила скобчатого трапа. Наверху он задержался и посмотрел в бинокль.

— Вижу мачты, товарищ капитан второго ранга, — сказал он, не опуская бинокля.

— Сколько? — спросил Маглидзе.

— Две... высокие. Судя по типу мачт, — вспомогательный крейсер. А сзади еще два дыма. Копеечные у них механики, товарищ капитан второго ранга. Не могут без дыма ходить, коптят, как самовары.

— Ладно, — ответил Маглидзе, — займитесь делом.

Артиллерист нырнул в люк башенки. Маглидзе вглядывался в голубеющее море горизонта.

Вот этот день! День большого и ответственного дела. Сколько он ждал его? Двадцать лет — от выпуска из училища и до этого вот солнечного июльского утра. Каждый год ему, Маглидзе, приходилось осенью смотреть на такие же точно дымки, на медленно встающие из-за горизонта мачты и корпуса, давать боевую тревогу, обдумывать сближение, определять курсы противника и свои, открывать огонь, маневрировать в бою...

Но всегда враг был только условностью игры. Орудия выбрасывали пламя и гром, но пламя и гром были безвредны, как бенгальский огонь на семейном празднике. И после боя враги мирно сидели рядом в салоне комфлота, попивали чай и дружески обсуждали процент попаданий и вероятность гибели корабля. Самые неприятные результаты ошибок выражались только в выговорах и замечаниях комфлота.

Сейчас каждая ошибка грозила катастрофой сотням людей и кораблям. И это была уже не условная, а настоящая гибель, с кровью и страданиями. И от него, командира соединения, теперь зависело, чтобы эта гибель обрушилась не на его, а на чужие корабли. За каждой оплошностью стояла сумрачная тень смерти, щерясь пустыми глазами.

Незначительная оплошность командира «Стремительного», который проскочил из-за чрезмерной лихости на полкабельтова точку поворота, уже повлекла за собой несчастье для корабля и людей. Сейчас каждое движение должно быть предельно точным, каждая мысль — мгновенно продуманной до конца. А времени думать было мало, мучитель-

но мало. Современный морской бой дает на это не минуты и даже не секунды, а доли секунд.

Возбужденный голос артиллериста, который высунулся по пояс из люка башенки, оторвал командира соединения от размышлений.

— Товарищ капитан второго ранга, — артиллерист, — я определил противника в дальномер. Вспомогательный крейсер тысяч на шесть тонн и два «ягуара». Идут курсом шестьдесят пять, кильватерной колонной. Дистанция двести двадцать.

И, отбарабанив сообщение, артиллерист снова провалился в люк.

Мягидзе снял фуражку и пригладил потные волосы. Потом взглянул на ходовой компас. Стрелка картушки дрожала на 190. «Суровый» разошелся с противником. Нужно было ворочать на пересечку.

— Право руля! Курс триста тридцать! — приказал он штурману.

«Суровый» накренился. Всех на мостике потнуло к правому борту.

— Противник открыл огонь! Вижу вспышки! — крикнул Рудняк.

Штурман высоко поднял узкие мальчишеские плечи.

— Обалдели, что ли, немчики? — произнес он вразяжку, улыбаясь толстогубым ртом. — Открыть огонь с такой дистанции? По шпротам, верно, стреляют.

Штурману было непонятно поведение врага. Четырехдюймовые пушки немецких эсминцев едва могли добросить снаряд на половину расстояния между врагами. Даже если предположить, что на немецком крейсере есть шестидюймовки, то и в этом случае они могли бить не дальше, чем на сто тридцать кабельтовых. А дистанция была еще

больше двухсот. Даже падений неприятельских снарядов не видно.

Но командир соединения видел дальше и глубже желторотого лейтенанта и уже разгадывал секрет этой бессмысленной стрельбы. Мысль его стала холодной, ясной и как бы раздвоенной. Он одновременно думал и за себя и за неизвестного человека, стоящего там, на чужом мостике, и тоже старающегося угадать мысли советского командира. И важно было опережать этого чужака в отгадывании мыслей и намерений.

— Ясно, — сказал Маглидзе, — все ясно! На пушку берут, сукины дети, гитлеровские фокусники! В игрушки играют!

— Не понимаю, товарищ капитан второго ранга, — покосился на него штурман, — чего им хочется? Что это за комедия?

— Комедия простая, как гвоздь, штурман, — ласково сказал Маглидзе лейтенанту. — Из данных своей разведки они, очевидно, знают, что мы идем ставить заграждение. Ну и берут на испуг. Авось мы сдрейфим и дадим драпу, чтобы не принимать боя с полным грузом мин на палубе. Вот и лупят с такого расстояния, чтоб вогнать нас в дрожь фейерверком. Понятно?

— Ну и ослы! — искренне восхитился штурман. — Вот это ослы! Чистой арийской работы.

Маглидзе продолжал наблюдать за неприятельскими кораблями. Бледносоломенные огни залпов вспыхивали над их уже ясно видимыми корпусами. Дистанция на встречных курсах сокращалась быстро, и теперь заметны были фонтаны падений немецких снарядов, лежащих громадными недолетами.

— Товарищ вахтенный командир, — сказал Маглидзе, — отправить радио командующему воздуш-

ными силами базы. Пусть подошлет бомбардировщики. Веселей будет! Дайте точное место.

Вахтенный командир записал приказание в блокнот, вырвал листок, и рассыльный слетел по трапу вниз, в радиорубку.

— Противник ворочает влево, — доложили наблюдатели.

— Ага, не выгорело, — Маглидзе усмехнулся, подняв брови. Лицо его оставалось попрежнему непроницаемым. — Ага, — повторил он, — не вышли штучки. Мореплаватели высшей породы дерут на хауз... Что ж, погоняемся! Больше ход!

Ему стало весело. Чужой человек на чужом мостике промахнулся. Игру он начал неверным ходом и потерял качество. Теперь он спасает свою шкуру, этот незадачливый игрок. Он хотел озадачить его, Маглидзе, своим нахальством и не сумел. Теперь ему приходится удирать от расплаты.

Не дать ему уйти! Не позволить ему больше ставить ставки на смерть и разрушение! Уничтожить! Вот в чем была сейчас задача.

— Сигнал «погоня»... Поднять «буки». Самый полный ход! — скомандовал Маглидзе.

По тому, как мгновенно набран был сигнал, как мелькали руки сигнальщиков, выбирая фалы, по блеску их глаз Маглидзе понял, что на «Суровом» все захвачены одним жадным и острым желанием — не выпустить врага.

«Суровый» задрожал от напряжения машин. Оба эсминца, наседая на уходящих немцев, неслись на зюйд-вест. Могуче и густо ревели форсунки, заглушая свист ветра, и над широким горлом трубы плясал и бился раскаленный воздух. Ветер стал тягучим и плотным, как резина. Он с силой влезал в ноздри, в рот, слезил глаза...

Расстояние сокращалось. В бинокли уже ясно видна была высокая корма теплохода, превращен-

ного немцами во вспомогательный крейсер. Два эсминца, зарываясь носами в буруны, бежали за ним. Теперь их орудия молчали. Они прекратили огонь после поворота. Их игра была разгадана на мостике «Сурового». Они поняли это и ждали сближения на дистанцию действительного огня, когда им придется защищаться в схватке насмерть.

Из башенки поста управления огнем опять показался артиллерист. Ветер сорвал с него фуражку, и она висела у него на затылке, поддерживаемая подбородочным ремешком.

— Дистанция сто десять, товарищ капитан второго ранга, — закричал он во всю силу легких, чтобы перекричать ветер и вой форсунок, — разрешите открыть огонь?

Командир соединения посмотрел на веселое лицо артиллериста. Молодость!

Двадцать лет тому назад и сам он был таким, нетерпеливым и буйным. Сейчас годы и опыт лежат на плечах грузом ответственности. А пожалуй, он немного завидует этой прекрасной и жадной молодости. Маглидзе поманил артиллериста пальцем, и тот быстро скатился по перекладинам трапа на мостик.

— Очень горячий, — сказал командир соединения, положив руку на плечо лейтенанта и любуясь юношеским задором, — очень!.. Артиллерист, дорогой мой, должен быть не только хорошим артиллеристом. Он должен и рассуждать. Иногда можно не жалеть снарядов, когда массированный огонь может сразу решить судьбу боя. Иногда нужно и поберечь снаряды. Они народу много стоят. Если можете гарантировать, что накроете с первого залпа, — разрешаю. Нет, — подождите. Они от нас не уйдут. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан второго ранга. — Артиллерист улыбнулся. — Разрешите доложить?

С этой дистанции не ручаюсь, но с девяноста гарантирую мировой долбеж.

— Добро! — ответил командир соединения и тоже улыбнулся.

Немецкие эсминцы дымили во-всю, стремясь выжать предельный ход. Теперь они выдвинулись вперед и бежали по бокам крейсера, как две собаки, гуляющие с хозяином.

— Собаки! Песьи души! — сказал вслух Маглидзе, и неожиданно ему вспомнились гневные, полные брезгливого презрения слова Маркса о рыцарях Тевтонского ордена. Прохвосты опять лезут к русской земле? Хорошо! Они будут купаны в русской воде.

Внезапно бинокль больно ударил его по надбровью. В лицо пахнуло жаром и мелкой пылью пороховой гари. Грохнул первый залп «Сурового». Не отнимая бинокля от глаз, Маглидзе потер пальцем ушибленное место и следил за падением залпа. Как справится артиллерист? И в ответ на этот вопрос у корпуса немецкого эсминца, шедшего слева от крейсера, прыгнули вверх два белых столба, а в самом корпусе мигнуло темнокрасное пламя разрыва.

— Накрытия, одно попадание! — услышал командир соединения согласный вскрик наблюдателей.

Он взглянул вниз, на полубак. Расчет носового орудия стоял на местах, ожидая ревуца для нового залпа. Лица краснофлотцев были осветлены особнным, необычным напряжением. И оно передалось командиру соединения. Он любовно смотрел на краснофлотцев. Как и командиры «Сурового», они тоже были его учениками и воспитанниками, — учениками и воспитанниками оставленной за кормой большой и любимой земли, которая выстрадала свою счастливую долю. Вместе с ним они стояли

на боевом посту, вместе с ним нетерпеливо ждали конца этой неумолимой, яростной погони за теми, кто осмелился стать поперек судьбе родины.

Заблеяли резуны. Прозрачным огненным облаком полыхнуло орудийное дуло. Пушка рванулась назад, но, сдержанная компрессором, послушно вернулась на место.

Лязгнул затвор, и в ствол, шипя, ворвался сжатый воздух, выдувая нагар. Наводчик приник к козырьку прицела, вращая штурвальчик. Все тут, у пушки, было закономерно, рассчитано и деловито, как всякий труд.

Командир соединения снова взялся за бинскль, лоя в окуляр серую тень немецкого эсминца. И едва поймал, как ее застлало зыбкой пеленой пламени. Оно переметнулось с носа на корму, погасло, но сейчас же вновь вырвалось изнутри корпуса могучим веером, взметнув в небо кудлатую тучу распухающего рыжего дыма. Эта туча отползала назад, открывая пенящиеся водометы.

На мостике «Сурового» раскатилось «ура». Кричали наблюдатели, сигнальщики, старшины, командиры. Кричал, размахивая фуражкой, молчаливый, всегда сдержанный Голиков. И командир соединения даже удивился, заметив, что сам участвует в этом стихийном радостном хоре.

Он взглянул на часы. От первого залпа до гибели вражеского корабля протекло пятьдесят восемь секунд. Артиллерист правильно понимал темп морского боя, и командир соединения почувствовал гордость за своего ученика.

«Суровый» и «Смелый» перенесли огонь на второй немецкий эсминец. Он метался зигзагами, как заяц на травле, заливаемый всплесками от падений. Огни его залпов мигали с лихорадочной быстротой. Он загнанно огрызался.

В лицо командиру соединения хлестнула упругая

масса холодной, колющей кожу влаги. Она шумно разлилась по мостику, окатывая людей. Маглидзе попятился. Отряхнув брызги с кителя, увидел опадающую вдоль борта струю вспененной воды и привычно определил: «Накрытие шестидюймовым у самого борта». Это пристреливался немецкий крейсер, защищая своего сторожевого пса. И мысль командира соединения автоматически реагировала на этот вызов.

— Перенос огня на крейсер противника, — крикнул он Голикову и, вынув платок, тщательно стер с лица соленые капли.

Наблюдатели доложили о появлении самолетов за кормой.

На бледнозолотой от солнца восточной стороне неба прорезались чуть различимые черные черточки.

«Свои или нет?» — подумал Маглидзе.

Весь мостик неотрывно следил, как перемещались в небе эти крошечные черточки. От них зависело разрешение событий. Если самолеты окажутся вражескими, — придется прекратить преследование и выпустить врага. Если свои, — они могут помочь быстро закончить бой, который становился затяжным. Дальнобойные пушки крейсера заставили командира соединения оттянуться назад и держаться на предельной дистанции огня. Это расстраивало стрельбу. Снаряды эсминцев по-прежнему часто накрывали неприятеля, но попадания стали единичными. А увлекаться долгим преследованием не приходилось. Маглидзе ясно отгадывал мысли немецкого флагмана. Чем дальше он завлечет советские корабли, тем выгоднее для него. Во-первых, он отвлекает их от непосредственной задачи — постановки минного заграждения; во-

вторых, затягивает их к своей базе, а оттуда уже должны спешить на помощь. Рации немецких кораблей беспрерывно просили о поддержке.

Но командир соединения не намеревался доставить врагу удовольствие быть пойманным на такую глупую приманку. Если через десять минут он не прикончит немцев, — чорт с ними, пусть уходят!

Самолеты приближались. Шли в боевом строю на большой высоте два звена.

Командир зенитного дивизиона, размашисто шагающий по полубаку между своими пушечками, беспокойно вскинул голову к мостику и взглянул на Маглидзе. И тотчас же послышался бодрый возглас Рудняка:

— Самолеты свои!

Мостик облегченно вздохнул. Самолеты стремительно снижались. Они пронеслись над мачтами эсминцев, приветственно покачали крыльями с красными звездами и снова взмыли кверху, просверкав на развороте серебром фюзеляжей. Они заходили на боевой курс для бомбежки и, обогнав «Сурового», тучей повисли над немецкими кораблями. Капитан второго ранга Маглидзе увидел, как второй немецкий эсминец исчез в облаке дыма и взметенной воды. На мостик «Сурового» донесло мощный удар воздушной волны.

«Суровый» полным ходом пронесся по водовороту, кружащему обломки. Среди них поплавками вертелись головы плавающих немцев. Они цеплялись за обломки, но беспощадная сила бушующей воды несла их под корпус «Сурового», и они отчаянно плескали руками по воде, стараясь отгрести в сторону. Командир соединения не изменил курса, чтобы обойти гибнущих. В конце концов, они получали то, за чем пришли. И в сердце капитана второго ранга Маглидзе не шевельнулась жалость.

— В дым хвост прячут вояки, — сказал командиру соединения Голиков.

С кормы бегущего немецкого крейсера сползала на море, ширясь и густея, плотная, как пена, занавесь белого, непроницаемого дыма. Она поднялась выше мачт и скрыла крейсер. В дыму ухали грузные взрывы. Самолеты неумолимо разыскивали крейсер в непроглядной пелене.

Маглидзе отвернул рукав кителя. Девять тридцать семь. Пора возвращаться!

Можно предоставить самолетам окончить бой.

— Прекратить огонь! Отбой боевой тревоги! Боевая готовность номер два! Ворочать к точке постановки, — сказал командир соединения Голикову. И окаменелое лицо его разгладилось и помолодело. Жестокая игра в опережение чужих мыслей была выиграна.

Он представил себе томительное беспокойство и отчаяние этого чужака, угрюмо стоящего там, на мостике убегающего крейсера, в удушливом дыму завесы и взрывов, залитого водой, оглушенного, жалкого, растерянного, — и засмеялся торжествующе и зло. Командир «Сурового» удивился этому смеху: Маглидзе смеялся редко.

Эсминцы описали полукруг и спокойно уходили назад. Высоко стоящее солнце заливало палубы блеском, и вода, взлетая у штевней, рассыпалась алмазной радугой. Но командир соединения не замечал этого. С момента поворота мысль его направилась к оставленному «Стремительному». Прошло более трех часов после аварии эсминца. А еще предстояло ставить заграждение. Беспокойство боя кончилось, но возникало новое беспокойство — за судьбу подорванного корабля. Оно жило и во время боя, это подспудное беспокойство, которое становилось теперь все острее. И командир соединения не сбавлял хода эсминцев. Он торопил-

ся. Было, конечно, большим риском оставить поврежденный корабль в таком положении. Многие на месте капитана второго ранга Маглидзе, может быть, сразу прервали бы операцию и вернулись бы в базу, прикрывая отход раненого товарища. И у кого поднялся бы голос осудить такое решение? Можно избегать лишнего риска. Но разве вся морская служба не бесконечный риск? И разве без риска приходят удача и победа? Без риска нет ответственности, без готовности к ответственности командир перестает быть командиром.

— Разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга, — подошел штурман, — пришли в точку. Позвольте начинать постановку?

Командир соединения молча кивнул и вдруг сладко потянулся всем телом, как после долгой утомительной, но приятной работы.

За полчаса до подрыва «Стремительного» его молодой и горячий командир Вася Калинин, прозванный «рысаком» за неукротимый характер, имел короткий, но неприятный разговор со своим комиссаром. Причиной разговора был политрук Колосовский.

Отличный моряк и боевой командир, Калинин имел слабость считать, что во всем мире нет корабля лучше, чем его «Стремительный». И соответственно этому требовал, чтобы на «Стремительном» все блестело и сияло — от механизмов до людей, отличалось лихим морским шиком, говорило бы о настоящей подтянутости и дисциплине. Compliments своему кораблю командир принимал как нечто должное, как дань восхищения образцовым эсминцем, равного которому нет.

Поэтому Калинин не переносил отсутствия в людях той степени выправки и почти балетного ритма

движений, какие он сам считал неотъемлемыми природными качествами военного моряка. Малейшую неловкость, отсутствие стремительной расторопности в работе, которую командир прививал всему кадровому составу команды, Калинин воспринимал как оскорбление своему кораблю. Это был его слабый пункт, над которым дружески подшучивали товарищи, считая, что тут у командира «Стремительного» заедает.

С начала войны и появления на эсминце Колосовского сердце командира стал грызть неугомонный червячок. Призванный из запаса хозяйственник, немолодой, рябоватый с лица, — политрук, естественно, не мог приобрести сразу того удалого облика, который отличал команду «Стремительного». Он на каждом шагу оскорблял романтическое представление командира о военном моряке. Вдобавок Колосовский заикался, что, по мнению Калинина, было уже совершенно нетерпимым недостатком на таком корабле, как «Стремительный».

В негодовании Калинин прозвал политрука «арифмометром на цыпочках» и вкалывал ему повседневные фитили.

То, что Колосовский был трудолюбив и исполнительен, что он пользовался авторитетом и доверием краснофлотцев, не могло примирить с ним бурный темперамент командира.

И утром, после выхода с рейда, Калинин по обыкновению нашумел на политрука.

С высоты мостика он заметил на палубе Колосовского, разговаривающего с краснофлотцами. В глаза Калинину бросилась незастегнутая вторая пуговица на кителе политрука, и он обратился к Колосовскому жестяным, сухим голосом, который появлялся у него в приступах раздражения.

— Товарищ старший политрук, вы, кажется, из-

волили устроить у себя за пазухой колыбельку для ветра? Застегнитесь!

Колосовский поднял на командира, добродушные серые глаза, покраснел и покорно застегнулся. Краснофлотцы заулыбались. Эта исполнительная покорность еще больше раздражила Калинина. Вздернув плечами, он отошел к штурманскому столику. Секунду спустя к нему подошел комиссар — прикурить. Но, взглянув на комиссара, Калинин сразу понял, что папироска только повод для разговора. И действительно, — пыхнув дымком и понизив голос, комиссар сказал командиру с дружелюбной усмешкой:

— Опять беленишься? Пороховой у тебя характер. Хочешь, чтоб у тебя дисциплина была, как алмаз, а действуешь ей во вред. Раз заметил не порядок, — вызови человека на мостик и раздели в одиночку. А зачем же так, перед всеми?

Калинин уже сам понимал, что он неправ, что это вспышка неукротимой природы, но слова комиссара были обидны для командирского самолюбия, и он взвинтился снова:

— Тогда я попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, лично заняться строевым воспитанием товарища Колосовского. А я больше не желаю с ним возиться. Я не классная дама! Если эта расхлябанность не прекратится, я спишу его на берег. Пусть сидит в управлении тыла и считает портянки. У меня боевой корабль, а не богадельня.

Комиссар удивился возбуждению и вызывающему тону командира. Они служили на «Стремительном» вместе три года, знали друг друга еще до этого времени, жили дружно и никогда не ссорились.

И комиссар хотел закончить разговор шуткой.

— Чистый ты рысак, Вася! Как вожжа под хвост попала, — скачешь без удержу.

Калинин внезапно побледнел, повернулся к комиссару и, взяв под козырек, ответил резко и сухо:

— Разрешите напомнить, товарищ батальонный комиссар, что корабль находится в боевом походе. И шутки я считаю неуместными.

Комиссар изумленно взглянул на друга и, в свою очередь, разозлился:

— Отлично, товарищ капитан-лейтенант. Но полагаю, что ваш раздраженный тон тоже неуместен.

Они отвернулись друг от друга и разошлись по крыльям мостика. Но, как всякий вспыльчивый человек, Калинин уходил быстро. Он подумал, что напрасно погрызся со старым другом из-за какого-то нелепого пустяка, что нужно обуздывать свой характер, и в момент поворота шагнул к комиссару, чтобы восстановить отношения и загладить бестолковую стычку.

Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то с невероятной силой схватило его за грудь и подняло на воздух.

Когда, оглушенный взрывом и сброшенный с мостика, Калинин очнулся на палубе, втиснутый между вентилятором и кожухом трубы, он не сразу понял, что происходит вокруг.

На мокрой палубе, в горячей сырости пара, в дыму металась люди.

Кто-то, скрытый паром, кричал рядом с ним:

— Корабль тонет!

Кто-то командовал и распоряжался за него, капитан-лейтенанта Калинина, хозяина «Стремительного». Это был беспорядок. Этого нельзя было допустить. Он повернулся на бок, и первое, что почувствовал — была чугунная тяжесть в левой руке. Он попробовал пошевелить пальцами, но пальцы остались мертвыми. Он не ощущал их. Он

попытался взглянуть на руку, и тоже не удалось. Мешала какая-то заслонка перед глазами. Он поднес к лицу здоровую руку, чтобы отодвинуть эту заслонку, и застонал. Пальцы сразу взмокли, и он с трудом понял, что перед глазами не заслонка, а свисшая со лба лоскутом его собственная кожа.

— Корабль тонет! Спасайся!

Какой болван орет эту чушь? Разве может утонуть его «Стремительный»? Калинин решительно вскочил на ноги. На козухе валялась чья-то бескозырка. Командир эсминца схватил ее и, прижав ко лбу лоскут кожи, не обращая внимания на боль, нахлобучил бескозырку. Теперь он мог видеть, хотя ресницы слипались от крови.

Сквозь пар он заметил краснофлотца на торпедном аппарате. Тот стоял с выпученными, бессмысленными глазами и дрожащими губами выкрикивал:

— Тонем! Тонем!

— Что вы мелете? Долой с аппарата! — закричал Калинин.

Краснофлотец уставился на него пустым, одурелым взглядом. И вдруг этот взгляд прояснел обыкновенной человеческой тревогой при виде залитого кровью лица командира. Краснофлотец ахнул:

— Товарищ командир корабля! Вы...

— На место! — скормандовал Калинин. — Стоять по местам!

И сам тоже кинулся на свое командирское место, на мостик, карабкаясь по искореженному трапу.

— Куда лезете? Назад! — крикнул ему кто-то, когда его неузнаваемая голова, покрытая бескозыркой показалась из люка.

— Я командир эсминца... Кто здесь распоряжается? — рявкнул Калинин, выбираясь на мостик, усеянный обломками.

Тот, кто кричал на него, — Калинин узнал в нем командира БЧ-III, лейтенанта Воробьева, — взгляделся и взял под козырек.

— Виноват, товарищ капитан-лейтенант... Согласно боевому расписанию, я вступил в исполнение обязанностей командира эсминца. Комиссар пропал без вести. Помощник убит. Артиллерист и штурман тяжело ранены, — отрапортовал Воробьев и нерешительно добавил: — Вы тоже ранены, товарищ капитан-лейтенант.

Командир невольно поглядел на левое крыло мостика, где за секунду до взрыва стоял комиссар. Левого крыла не было, не было и комиссара. Калинин зажмурился.

— Отправляйтесь к своим обязанностям, — сказал он Воробьеву, — командуя я.

— Но вам нужно к врачу... Санитаров! — вдруг закричал на весь мостик Воробьев. — Санитаров к командиру!

— Отправляйтесь на место! — повторил Калинин, стиснув зубы, и огляделся.

Мостик был в пятнах крови. У штурманской будки, скорчась, лежал помощник. Вахтенный командир, бледный, в висящем лохмотьями кителе, распутывал обрывки сигнальных фалов, которые окрутили его, как неводом.

Но среди обломков и крови стояли на своих местах сигнальщики и наблюдатели, и только во взглядах их, устремленных на командира, Калинин подметил недоумение и ожидание. Он понял, что люди смотрят на него, раненого командира, и ждут, что он примет то единственное решение, от которого зависит жизнь корабля и их жизнь.

— Все благополучно, товарищи, — сказал он, пытаясь улыбнуться, — не ослаблять наблюдения.

В эту минуту с «Сурового» последовал запрос флагмана о последствиях взрыва, и Калинин при-

казал передать, что эсминец держится на плаву и повреждения выясняются. Он был уверен, что его «Стремительный» не может погибнуть.

Пока передавали семафор, Калинин подошел к помощнику и наклонился над ним. Окликнул. Ответа не было. Калинин попытался приподнять голову помощника. Она завалилась и деревянно стукнулась о палубу.

Командир эсминца выпрямился.

«Прощай, помощник! Много вместе поплавано. Встретишь ли такого другого? И моряка и друга!»

Но грустить было некогда. Нужно было прежде всего восстановить порядок на мостике.

— Что вы смотрите, товарищи? Прибрать мостик!

Люди кинулись исполнять приказание командира. Зазвенел телефон.

— Командир эсминца слушает, — сказал Калинин, подняв трубку и чувствуя, как все в нем мутнеет от нарастающей боли.

— Говорит командир БЧ-V. Разрешите доложить положение, товарищ капитан-лейтенант. Работа аварийной группы идет успешно. Течь ликвидировали. Ставим упоры на переборку. Думаю...

— Понятно, — перебил Калинин, — продолжайте работу. Сейчас спущусь в низы.

Он положил трубку. Вахтенный командир, наконец, выпутался из фалов. Калинин мутно посмотрел на его изорванный китель. Это тоже был беспорядок. Что бы ни случилось, моряк должен быть на мостике в исправном виде.

— Пойдите, переодень... — командир эсминца не кончил фразы, шатнулся и повалился на руки вахтенного.

Он очнулся в кают-компании, когда врач, наложив лубки на левую, сломанную руку, кончал бин-

товать голову со сшитой стежками кожей лба. Как только врач завязал кончики бинта, Калинин сделал нетерпеливое движение, пытаясь встать.

— Нельзя, Василь Васильич, — сердито сказал врач, — вам нужно лежать.

— Уложите вашу бабушку! — упрямо и зло огрызнулся Калинин и спустил ноги с обеденного стола, на котором ему сделали перевязку.

Пока в командире эсминца есть хоть капля жизни, — он должен оставаться командиром эсминца, и лежать ему непристойно. Шатаясь, Калинин побрел к выходу на верхнюю палубу. От воздуха ему стало легче. Он прислонился к надстройке и стал дышать глубоко и ровно, как на зарядке. Стало почти хорошо.

Он поднял голову к мостику и окликнул:

— Вахтенный командир!

Голова вахтенного командира показалась над изорванным обвесом.

— Остаться за меня на мостике! — сказал Калинин. — Я иду в низы.

Когда он, непривычно медленно и осторожно, сползал по отвесному трапу в первую кочегарку, где работала аварийная группа, его поразили взрывы смеха, несшиеся снизу.

«Что там смешного?» — подумал он с недоумением.

Заметив командира эсминца, командир БЧ-У подошел с рапортом:

— Товарищ капитан-лейтенант, работы заканчиваем. Все в порядке. Живучесть корабля обеспечена.

— Что это у вас за смех? — спросил капитан-лейтенант.

— Разрешите доложить... Старший политрук Колосовский сумел высоко поднять моральное со-

стояние людей. Благодаря ему повреждения исправлены быстрее, чем можно было ожидать.

Командир эсминца вздернул брови и был жестоко наказан за это выражение недоверия острой болью в сшитой ране. Поморщась от боли, он направился к переборке, откуда продолжали нестись раскаты смеха. Среди смеющихся краснофлотцев увидел Колосовского и не узнал политрука. Колосовский, без кителя, с засученными рукавами управлял работой, как дирижер оркестром, переходя от одной группы к другой, ужом пролезая между механизмами, подбадривая людей, безостановочно бросая шуточки. Он даже перестал заикаться.

Калинин изумленно смотрел на простое, рябоватое лицо политрука. Сейчас оно стало неузнаваемым. Оно дышало оживлением, энергией, неисчерпаемой духовной силой русского человека, которая так подымает самых обычных и незаметных людей в грозные часы. И лица краснофлотцев тоже цвели жизнерадостной уверенностью. Это было удивительно и приятно.

— В первую минуту, товарищ капитан-лейтенант, — шопотом сказал из-за плеча командир БЧ-V, — среди команды возникла некоторая растерянность, но товарищ Колосовский сумел быстро устранить ее, внушить бодрость...

Командир эсминца еще раз оглядел Колосовского с ног до головы, как будто впервые увидев этого человека по-настоящему, и вдруг с неожиданной теплотой сказал, протягивая ему руку:

— Объявляю вам, товарищ старший политрук, благодарность за отличное руководство. Будете представлены к награде.

Колосовский, опешив от похвалы командира эсминца, поднял руку к козырьку, забыв, что на нем нет фуражки. Но теперь даже это не только не

рассердило, а наоборот, растрогало Калинина. Он опустил эту руку и крепко сжал ее:

— Отлично работали!

Колосовский хотел ответить командиру, и вдруг от волнения его заело.

— С-с-сс, — зашипел он в тщетном желании выговорить начатое слово.

Калинин засмеялся и здоровой рукой потрепал Колосовского по плечу:

— Не трудись, политрук, пар вытравишь! Служишь Советскому Союзу? Понятно!

Краснофлотцы прыснули. Засмеялся и сам Колосовский. И командир эсминца почувствовал, что его люди вместе с ним составляют тесную, крепкую боевую семью.

— Спасибо, товарищи краснофлотцы, — голос капитан-лейтенанта дрогнул, — спасибо за службу! «Стремительный» не пропадет с такими людьми. Счастлив, что командую вами.

Когда он вернулся на мостик, там все было убрано. Море расстилалось вокруг большое, теплое, голубое, мерцающая солнечной рябью. Оно было пусто. «Суровый» и «Смелый» давно скрылись за горизонтом. Оставалось выполнить приказ командира соединения и терпеливо ожидать возвращения отряда. Командиру «Стремительного» стало очень тоскливо. Он сел на выступ тумбы ходового компаса, закрыл глаза и тихонько засвистал «Варяга».

Во время боя краснофлотец первого года службы Алексеев стоял подающим у третьего орудия на корме «Сурового». Прошлой осенью Алексеев пришел на флот из тамбовского колхоза и, когда сажился на пароход в Ораниенбауме с партией молодых моряков, отправляемых из экипажа в Крон-

штадт, смотрел на вспученную осенними ветрами воду взморья с недоверием и робостью.

По блеклой свинцовой ширн мчались желтые гребни волн. Пароход, ныряющий между этими гребнями, показался Алексееву ненадежным, а от скачки волн рябило в глазах, и из-под ложечки подымалась к горлу противная и расслабляющая муть.

Но это осталось позади. Теперь Алексей не испытывал больше робости перед морем. В конце концов, оно было очень похоже на бескрайное колхозное поле в дни созревания хлебов. Оно все время колыхалось от ветра, как зреющая пшеница. Только оно было из воды и все время меняло цвета. И Алексей полюбил эту неустанную игру красок.

И в этот поход он любовался морем. Из темно-чернильного, каким оно было в час выхода из гавани, оно постепенно превращалось в пепельно-серое, зеленовато-опаловое, розовое и, наконец, у самого борта корабля, стало густо изумрудным, все больше бледнея к горизонту и сливаясь там с сиреновой дымкой.

С первого залпа Алексей перестал заниматься морем. Он проделывал одно и то же привычное движение: подхватывал с палубы длинную остроносую болванку снаряда и, натужась, ловко опускал ее в уютную выгнутую люльку автоматического зарядника. Зарядник, уже без помощи Алексева, со звоном втискивал снаряд в отверстие каморы. Первые дни своей службы при орудии Алексей замороженно смотрел на самостоятельную работу зарядника. Этот выгнутый кусок стали казался ему наделенным своей жизнью и хитрым металлическим мозгом. Он стал уважать зарядник как безмслвного и безотказного друга и помощника,

который не подведет и не выдаст. Этот умный прибор был сделан, может быть, руками такого же двадцатилетнего комсомольца в грохочущем цехе заводского корпуса. И Алексеев иногда завидовал неведомому ровеснику, который делал зарядник, и думал, что стоит после службы пойти на завод, чтобы создавать такие замечательные вещи.

Занятый своим делом, Алексеев не замечал происходящего за пределами его пушки и не думал об опасности. Ему и некогда было о ней думать: залп следовал за залпом с десятисекундными промежутками, и на раздумывание не оставалось времени. Он знал только, что семидесятикилограммовые болванки металла с медными остриями и кольцами, с желтой полосой краски поперек, швыряемые буйной мощью пороха, должны отогнать и уничтожить те чужие корабли, что были едва различимы в морской дымке. Эти корабли лезли к берегам родины, охрану которых советская власть доверила Алексееву и его товарищам. Каждый из них исполнял свой долг присяги у этой пушки, мигая и морщась от сухих, сотрясающих тело ударов залпов, раскрывая рот в момент выстрела, испытывая боль в ушах, куда вбивало, как молотом, раздирающий грохот.

И Алексеев очень удивился, когда в промежутке двух залпов, еще до мычания ревуна, по палубе у казенной части орудия с ревом разлилось мгновенное темное пламя. Когда оно сникло, Алексеев увидел вспученную пузырями и почерневшую краску на щитовой броне, вмятины и рваные дыры в листах палубы, распластанное ничком тело комендора Люлько со странно раскинутыми руками.

Алексеев протер запорошенные глаза и нагнулся за очередным снарядом. Но, к своему удивлению, поднять его не смог. Онемелая левая нога подвер-

нулась, и он неловко сел на палубу. Оробев, он посмотрел на непослушную ногу. Брезент брюк был разорван у колена, и по палубе под коленом расплывалось блестящее по краю пятно крови.

— О-ой! — тоненько, по-бабьи, завопил Алексеев.

Над ним наклонился командир орудия, старшина Форафонов.

— Чего кричишь? — сказал он Алексею. — Зацепило? На то и бой! Порядка не знаешь? Доставай пакет, перевязывай.

Форафонов ухватился за вспоротую осколком штанину Алексея и с натугой разорвал ее по шву до бедра. Алексеев увидел развороченное мясо над коленом и испугался. Та же расслабляющая муть, какую он испытал, впервые попав на пароход, заколыхала его. Форафонов вырвал у него индивидуальный пакет. Ремешком от своих брюк он туго перетянул ногу Алексея, наложил подушечку и стал бинтовать. Алексеев сидел, сжав губы, стараясь удержать неприятное цоканье зубов.

— Готово! — Форафонов шлепнул ладошкой по спине Алексея. — Ползи, салажонок, в лазарет, кланяйся доктору.

Алексеев не смог улыбнуться на шутку. Он пополз по палубе до леера, поднялся и, чуть не плача от можжения в колене, повис на леере и стал продвигаться, подпрыгивая на здоровой ноге. Оглядываясь на свою пушку, увидел, что расчет ее уже пополнен из подвахтенной смены. На его месте стоял рыжий Сережка Ивацов. По прогнутой стали щита гремели кувалды, освобождая откат пушки.

Алексееву стало досадно, что он покинул свое место. Придерживаясь за леер, он смотрел на работающих товарищей, но новая вспышка темного пламени оторвала его от леера ихватила затыл-

ком о шлюпбалку вельбота. Присев на карточки, он увидел сквозь вонючий дым наполовину отбитый ствол пушки и разметанный по палубе расчет. И он почувствовал рану пушки, как свою собственную рану. Ярость залила ему глаза. Он всхлипнул и потряс кулаком в море, туда, где были враги. Он хотел даже выругать их последними словами, но вспомнил вдруг комсомольское обязательство не ругаться и только прошептал эти слова для себя.

И сейчас же услышал рядом грозный крик:
— Мина горит!

Алексеев повернулся. У одной из мин, приготовленных к постановке, осколками разворотило корпус. Разбросанный желтыми комьями по палубе, тротил горел, сильно коптя. Языки огня лизали корпус мины, и из нее уже шел дымок. Алексеев вспомнил занятия по минному делу. Горящий на воздухе тротил безопасен. Но в разбитой мине были запальные стаканы с гремучей ртутью и тетрилом. Раскалясь, они взорвутся, и тогда рванет тротил, захватывая и соседние мины.

Кто-то с обожженным лицом, в изорванном рабочем платье, проскочив мимо Алексеева, метнулся к горящей мине и уперся в нее черными, ободранными в кровь руками, стараясь подтолкнуть к борту. Но тяжелая мина только покачивалась. Один человек не мог совладать с ней. А поблизости никого не было. Лежали мертвецы и корчились раненые. Тогда, забыв о ране, Алексеев вскочил на ноги и, не хромя, побежал на помощь одинокому товарищу. В этом опаленном человеке он не узнал всегда щеголеватого Форафонова.

— Навались! — крикнул Форафонов, тоже не узнавая соседа. — Напри! Разок! Еще разик! Ухнем!

Мина толчками подавалась к борту. Последним усилием краснофлотцы перевалили ее через ва-

тервейс, и она, высоко плеснув брызгами, исчезла в глубине. И тут же Алексеев с воплем схватился за ногу и лег на палубу, впиваясь зубами в свою ладонь от нестерпимого ожога боли.

Форафонов провел рукой по закопченному лицу, нагнулся, подхватил Алексеева и, перекинув его через плечо, пошел на перевязочный пост.

Штурман захлопнул крышку ящика с хронометром и поднес руку к фуражке:

— Постановка окончена, товарищ капитан второго ранга. Всего поставлено с двух эсминцев сто девятнадцать мин. Сто двадцатая на нашей палубе была разбита осколком и загорелась. Старшина Форафонов и раненый краснофлотец Алексеев успели столкнуть ее за борт, предупредив катастрофу.

Капитан второго ранга Маглидзе наклонил голову.

«Хорошие ребята, золотые ребята, — подумал он, смотря на штурмана. — Вот они — наши дети. С ними жить, драться и побеждать радостно. И умирать не страшно!»

— Добро! — коротко сказал он штурману и обернулся к командиру «Сурового»:

— Ложитесь курсом на место «Стремительного». Итти полным ходом. Поторопимся!

Эсминцы повернули домой. Целый час командир соединения не сводил глаз с востока, где был оставлен «Стремительный». И, когда наблюдатели открыли эсминец, Маглидзе, впервые за двое суток, ощутил голод.

— Притащите мне пару бутербродов и чаю покрепче, — сказал он вестовому и стал набивать трубку.

«Суровый» вплотную прошел мимо «Стремитель-

ного». На палубе поврежденного корабля стояла выстроенная по бортам команда, на мостике белела перевязанная голова командира. Боевой флаг «Стремительного» развевался на гафеле, приветствуя флагмана, и на «Суровом» слышали медленный медный ритм гимна.

Командир соединения отпустил руку от козырька.

— Передать на «Стремительный»: «Приготовьтесь принять швартовы».

Флажки семафора начали свою сложную пляску в воздухе. Со «Стремительного» отмахали ответ: «Ясно вижу». Потом флажки на его мостике взлетали долго, передавая длинную фразу:

«Прошу разрешить самостоятельно следовать в базу, — читал командир соединения, — повреждение исправил, могу держать десять узлов без риска для корабля».

— Ну и жук! — одобрительно крикнул Магидзе. — Подымите ему: «Флагман изъявляет удовольствие». А я пойду к раненым.

Алексеев лежал на лазаретной койке. После укола морфия и вторичной перевязки, наложенной врачом, нога уже не болела, а лишь тихонько ныла. Он лежал, подложив руки под затылок, и думал, как напишет письмо Танюше Будкиной, трактористке второго стана, как расскажет про свой первый бой и рану и как Танюша станет читать его письмо всем друзьям.

Чья-то тень заслонила от него солнечный луч, проникавший через иллюминатор. Алексеев нехотя повернул голову и на уровне койки увидел лицо командира соединения. Он дернулся, пытаясь встать, но крепкая рука опустила его на подушку.

— Лежите, товарищ Алексеев. Отдыхайте! Как чувствуете себя? Очень больно?

— Теперь ничего, товарищ капитан второго ранга, — ответил Алексеев, — самую чуточку. Вот, когда мину спихнул, тогда в коленку так ударило, аж море заплясало.

— Как же вы так с разбитой ногой полезли мину сбрасывать? — спросил Маглидзе.

Алексееву почудилось, что начальник упрекает его. На глаза ему набежали слезы, и он виновато сказал:

— Так, товарищ же капитан второго ранга, ведь коли б она рванула, всем крышка была б... Я и про ногу забыл, как увидел, что она, проклятая, горит, а товарищ старшина Форафонов в одиночку с ней мучается... Извините, коли неправильно поступил...

Он замолчал и нервно затеребил пальцами воротник рубашки. Командир соединения взглянул на стоящего рядом врача, торопливо отвел взгляд и быстро вышел.

Вечером командир «Стремительного» сидел в салоне командира соединения и докладывал соображения по ремонту эсминца.

Ему было не по себе. Он ослабел от ран. Болела рука, разламывало голову. Но он старался держаться бодро. Он ждал, что после окончания доклада командир соединения разнесет его за неудачный поворот и аварию корабля. Может быть, даже отдаст под суд. И, оттягивая эту минуту, Калинин был чрезмерно многословен. Но пришлось все же закончить. И он замолчал, опустив глаза.

— Ну, что же, одобряю, — услышал он голос Маглидзе, — и благодарю за энергичные действия по обеспечению живучести корабля.

Калинин горько вздохнул.

— Эх, — произнес он печально, — разве об этом я думал, товарищ капитан второго ранга, когда выходил в поход! Я мечтал о подвиге, а получилось чорт знает что. Хоть бы выругали вы меня!

Командир соединения молчал. В салоне было слышно только посапывание раскуриваемой трубки. Воздух заволокло сладковатым голубым дымом. И Маглидзе задумчиво сказал:

— Подвиг!.. А что такое подвиг? Очень интересно! Никто не понимает. Краснофлотец Алексеев извинялся передо мной за то, что совершил подвиг... Командир эсминца Калинин считает естественным оставаться командовать кораблем, когда ему самому нужна хорошая починка в госпитале... А мы разводим теоретические разговоры о подвиге... Философы!

Калинин искоса посмотрел на командира соединения, и в глазах его мелькнула лукавая искра. Он поднялся.

— Разрешите сказать, товарищ капитан второго ранга. Я тоже знаю одного командира соединения, который не замечает, что принял на себя огромную ответственность продолжать и довести до конца операцию в тех условиях, которые были созданы ошибкой подчиненного... Вот что такое подвиг!

— Хватил! — насмешливо проворчал Маглидзе. — Бредишь, наверно, от ран, капитан-лейтенант?.. Езжай-ка выспись. Время позднее!

Октябрь — декабрь 1941 г.

ПОДАРОК СТАРШИНЫ

Размазывая по щекам копоть, крошь и слезы, водитель танка сидел в окопе, прислонясь спиной к траверзу, и плакал навзрыд, как трехлетний

малыш, у которого хулиганы отняли любимую игрушку. Впрочем, слова, которыми он сопровождал плач, отнюдь не походили на детский лепет. Танкист честил немцев такими оборотами, что даже моряки одобрительно ухмылялись.

Танкист был взволнован и зол, как дьявол. Немецкий снаряд пробил башню его танка, убил командира и стрелка и вызвал пожар. Водитель едва успел выскочить. Объятый языками пламени, он волчком завертелся на земле, гася тяжестью своего тела тлеющую одежду. Потом, с опаленными руками, весь в копоти, он пытался догнать отходящие после неудачной атаки два других танка, но они уходили быстро, спеша выбраться из зоны огня. Танкист кричал и чертыхался вдогонку, выкручивая заячьи петли, увертываясь от ноющих разозленными пчелами пуль. Одна оцарапала ему щеку, вторая ужалила вскользь по ребру, прежде чем он, задыхающийся от усталости и злости, перекатился через бруствер и свалился на дно окопа к морякам.

Моряки забинтовали ему бок, смазали иодом отметину на щеке. Он покорно подчинялся этим процедурам, молча, тяжело дыша, смотря на краснофлотцев вытаращенными голубыми глазами.

Но когда бронебойщик Тарасюк поднес ему в котелке воды, танкист неожиданно гневным жестом оттолкнул руку краснофлотца, так что вода из котелка выплеснулась на глинистую стенку окопа, и раздраженно прохрипел:

— Сами лакайте! Может, еще молочка поднесете? Нет соображения подкрепить человека. А еще моряки, черти!

Краснофлотцы прыгнули, глядя на обиженное лицо гостя. Старшина Клименко, добродушно подмигнув товарищам, отвинтил крышку трофейной

офицерской фляги, нацедил до краев и подал танкисту. Прищурясь на жидкость, тот лихо опрокинул ее в рот, ошалело дернул головой, закашлялся и уронил крышку.

— Ого, — сказал он после паузы, — ну и градус, аж под дыхало ударило!

— Ясно, — ответил Клименко, подымая крышку, — девяносто шестой. Мы моряки, а не насекомые, шоб сорокаградусным баловаться.

Сразу захмелев от волнения и спирта, танкист начал словоохотливо излагать историю гибели своего танка и под конец горько заплакал.

— Разве вы можете про это понимать? — всхлипнул он, с презрением оглядывая краснофлотцев. — Ведь какой танк был, какой танк! Вовсе живой. Стукнешь, бывало, его по броне, а он весь загудит, словно заржет в ответ. Чистый рысак был, а не танк.

И, вспомнив невозвратимую потерю, танкист пожелал немцам такого, что краснофлотцы застонали от удовольствия. В эту минуту появился командир роты старший лейтенант Петров, пришедший с командного пункта взглянуть на танкиста, о котором ему доложили.

— Убивается хлопец, — вполголоса, деликатно сообщил командиру Клименко, — товарищей побили, и танк погорел.

— Так что ж он разрюмился, как баба? — Петров неодобрительно покосился на танкиста.

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант, — мягко и убеждающе объяснил Клименко, — шо он не по бабьей специфике плачет... Это он вроде как по-кавалерийски.

— По-кавалерийски? Это еще что за номер? — лейтенант высоко поднял выцветшие от солнца брови.

— Это, я извиняюсь, у книжках читал... От, скажем, убьют у казака коня, он стоит над им и плачет, бо привязанность сердца до живого создания. А танкисту танк — шо конь... Он его так и кличет — рысаком. Рысак, говорит, а не танк.

Петров подавил улыбку. По молодости он любил казаться закаленным военачальником и опасался уронить командирский авторитет.

— Чепуху выдумываете, товарищ старшина, — сказал он петушиным тенором, — отведите танкиста в блиндаж. Пусть выпится и отойдет. А вечером направьте его в часть, а то его либо в убитые, либо в дезертиры запишут.

Старший лейтенант повернулся и направился на КП. Краснофлотцы увели танкиста. В окопе восстановилась будничная окопная жизнь. Старшина Клименко стал доканчивать завтрак, прерванный появлением танкиста. Прожевывая хлеб с салом, он задумался. Ему было очень жаль этого опаленного парнишку, который так переживал потерю своего танка. Клименко хорошо понимал его. То же было недавно с самим старшиной, после гибели корабля. Положим, он не проронил слезинки, ну так что? Разные бывают у людей характеры. Но по ночам старшине часто снился эсминец «Бдительный», голубовато-серый, как морская волна в пасмурный денек, быстрый, могучий, поднимающий форштевнем пенистый белый бурун. Клименко видел его, как наяву, и видел себя попрежнему командиром кормовой пушки. Он просыпался с пересохшим ртом. Сердце его ныло тоской по кораблю, лежащему теперь глубоко под водой в завоном зеленом иле. Старшина стискивал кулаки и долго не мог уснуть. И напрасно лейтенант Петров назвал танкиста бабой. Слезы его были хорошие, — злые мужские слезы.

Старшине хотелось сделать для танкиста что-нибудь душевное, что могло бы обрадовать хлопца и вернуть ему утраченное равновесие. Но он не мог выдумать ничего толкового, вздохнул и по привычке тщательно стряхнул с колен хлебные крошки, хотя после трехмесячного окопного сиденья брюки приобрели такой вид, что никакие заботы не могли вернуть им бывшего морского шика.

Потом Клименко встал, протянул руку и бережно взял свою снайперскую винтовку, прислоненную к траверзу. Он окинул внимательным взглядом тускло отливающий вороньим пером ствол, трубку оптического прицела. Заглянул в подсумки — они были полны обоймами. Нашупал на боку сумку с двумя гранатами марки «Ф-1», запросто именуемые «феньками». Все было на месте и в порядке. Старшина вздохнул, вспомнив то ладное времечко, когда он был командиром орудия. А теперь вот сиди в земле, как суслик, и постреливай из винтовки.

Сперва старшине очень не нравилась перемена специальности. У пушки был внушительный басовой рык, и весь ее сложный организм, подчиненный старшине, вместе с людьми, внушал ему уважение к самому себе, — хозяину этой хитрой механики.

Винтовка после этого была чересчур проста. Но у нее было и положительное свойство. Она позволяла воочию и немедленно видеть результаты своей работы. Оптический прицел ясно показывал аккуратные дырки, которые она просверливала в немецких черепаках. И старшина вскоре увлекся винтовкой. Она была верным другом, с ней он отвечал только за себя.

Клименко взял винтовку на ремень. Наступал обычный час его ежедневной охоты. Он прошел по окопу до узкого лаза, выводящего на ничью землю, и пополз по нему. Лаз обрывался у тропки, идущей

шей на взгорбок, заросший цепким кустарником. Старшина юркнул в чащу, продираясь сквозь ветки, оснащенные свирепыми полуторавершковыми колючками. Он полз осторожно, осматриваясь, не упуская из виду ни одной подозрительной детали. В его работе нельзя было иначе: где-то могли таиться стволы чужих винтовок, подстерегающие его голову. Кустарник стал реже. Клименко прилет передохнуть. До намеченного места оставалось не много. А место это заинтересовало старшину еще вчера. Узкая балочка с пересохшим руслом горного ручья, куда спускался склон высоты, заглохшая и пустая, подозрительно оживилась со вчерашнего дня. Пока Клименко лежал в кустах, по дну проскакивали туда и обратно немецкие солдаты. Старшина взволновался. Какого чорта занудилось гансам в этой дыре? Может быть, они налаживали там наблюдательный пункт, может быть, — склад боеприпасов или горючего, либо еще какую-нибудь пакость?

Чтобы узнать это, старшине предстояло перебраться через балочку и вскарабкаться на противоположный склон. Авось попадетя хорошая добыча и удастся сразу перещелкать пяток, а то и больше гансов. Задерживая дыхание, Клименко стал скатываться по склону, передвигаясь от камня к камню. Вдруг он насторожился. Из-за поворота балки слышалось глухое фырчание и скрежет. Было похоже, что по дну пробирается тяжелый и крупный зверь. Клименко быстро выбросился вперед и припал за обломком скалы. Фырчание становилось громче, и старшина беззвучно ругнулся, увидя ползущий немецкий танк. Он приближался, раскачиваясь с неуклюжей важностью. Клименко ясно видел чернобелые кресты на его дымной броне. Тонкое жалъце пушки ерзало по сторонам, разнюхивая дорогу.

— От же ж гадюка, — прошептал старшина, — фланг наш прощупывает!

На миг он пожалел, что в руках у него винтовка, а не кормовая пушка «Бдительного». Мать родная! Двинуть бы по этому стальному кнуру из пушки — вот была бы потеха! А с винтовкой что сделаешь? Бить по щелям?.. Уйдет.

Танк приближался, хрустя раздавливаемой галькой. Клименко лежал неподвижно, и вдруг на губах его стала медленно проступать странная в его положении дерзкая и самозабвенная усмешка.

Он нащупал на поясе рукоятку ножа, выпростал его из кожаного чехольчика, попробовал концом пальца острие и засунул обратно. Танк подползал к скале, за которой притаился старшина, и Клименко стал плоским и незаметным, как ящерица, греющаяся на камне. Он держал танк упрямым, цепким взглядом. Внезапно люк башни открылся, и выглянул танкист. Голова его в кожаном шлеме, похожая на футбольный мяч, медленно поворачивалась на тощей длинной шее. Видимо, осмотр успокоил его. Он что-то каркнул и скрылся, захлопнув крышку. Клименко не двинулся, пока танк не прошел мимо него. Тогда, сгорбясь по-кошачьи, прижимая к левому боку винтовку, старшина бесшумно скатился вниз, догнал танк и беззвучным броском очутился на его горячей металлической спине. Он присел на корточки рядом с башней и вытащил нож. Сердце у него билось жадно и зло. Танк, пофыркивая, крошил гальку, не замечая нахального морячка у себя на хребте. Клименко ждал. Крышка люка дрогнула, подымаясь. Старшина сжался в комок. Крышка с лязгом откинулась, и немец выставился по грудь, как водяной из колодца.

Его изумленные водянистые глаза столкнулись с бешеным взглядом старшины. Ахнув, немец дер-

нул рукой к крышке люка, но клинок уже воткнулся в его шею, под ремешком шлема. Танкист булькнул горлом и провалился вниз. Из танка прозвучал встревоженный возглас. Не теряя мгновения, Клименко выхватил из сумки «феньку», выдернул чеку и сунул гранату внутрь, захлопнув люк. И сам плашмя распластался на танке.

Глухой удар потряс броню и отдался в теле старшины таким толчком, словно кто-то хватил его по туловищу тяжелой доской. Крышку люка подбросило волной взрыва, и из танка рванулся клуб горького дыма.

Потом раздался протяжный стон и затих. Не раздумывая, старшина перекинул ноги через крайнюю люка и спрыгнул вниз. Подошвы его уперлись в мягкую податливую массу. В танке было темно и тихо, и старшина услышал частое кап-кап-кап и понял, что это каплет на дно танка вражеская кровь. Он вздрогнул от отвращения и нагнулся. Под ним лежало тело. У задней стенки прилипло что-то, похожее на грудку смятой и небрежно затиснутой в угол одежды. Старшина повернулся к головной части танка и открыл броневую заслонку. Глаза его уже освоились с полумраком, и он увидел водителя, сползшего головой на рычаги. Клименко ухватил его за еорот и потянул к себе. Голова немца вяло откинулась на спину. Глаза его были закрыты.

«Неужто сдох?» подумал старшина.

Это было досадно. Клименко рассчитывал, что граната только оглушит водителя, прикрытого броней. Танк был захвачен, но у старшины были свои намерения, и гибель водителя срывала их. Клименко ничего не понимал в управлении этой грохочущей черепахой. А задерживаться не приходилось. В любую секунду из-за поворота балки

могли нагрянуть немцы. Правда, взрыв в закрытой коробке танка ударил негромко, но достаточно, чтобы привлечь внимание. А стоит немцам налететь — и из победителя можно разом обратиться в побежденного.

Немец, лежавший на рычагах, вдруг пошевелился и простонал. Клименко облегченно вздохнул. Можно, конечно, быстро оживить немчуру хорошим глотком, но жаль тратить честную жидкость на такую мразь. Очнется и так.

Немец тяжело дышал и тупо смотрел на моряка.
— Ты мне фильку не строй! — заорал Клименко. — Веди машину до наших, змеюка!

Немец забормотал и поднял трясущиеся руки.

— От холера! — выругался Клименко. — Шо ты мне бурчишь? Веди машину, бо как стукну, так папы-мамы не узнаешь!

Но немец не понимал. Он только не сводил со старшины набрякших страхом глаз.

«Не поймет, — со злостью подумал Клименко, — как ему, чорту, втолкуешь?»

Жалко было выпускать из невода такую рыбину. Что делать? В сумке оставалась еще одна «фенька». Плюнуть на все, заложить ее под мотор и покончить с машиной и немцами?.. Не того хотелось. Упрямыми усилиями памяти он торопил непослушное, скользкое, такое нужное слово.

«Так как же оно?.. От оказия!.. Еще политрук объяснял, — газета была у немецких контриков... Ой, вспомнил!..»

Он сунул ногу в горловину и пнул немца в спину каблуком.

— Форвертс... социал-предатель! Форвертс, порви твою печенку! — рывкнул он.

И немец испуганно закивал:

— Форвертс... их ферштее... я... я...

— Ясно, шо ты, а не я, — прикрикнул старшина. — Газуй, сволота, на полный без саботажа, а то влеплю!

Немец включил сцепление. Мотор зарокотал, и танк рванулся, запрыгав по каменистому дну балки. Клименко высунулся в люк. Танк мчался, шатаясь, как корабль в шторм, и так, на всем ходу, вылетел на открытое пространство. Завидев знакомую глинистую полосу родного бруствера, Клименко завопил от радости и вдруг стремглав нырнул в люк. Несколько пуль с треском ударили в броню, и старшина сообразил, что ребята, ничего не зная о происшествии, приняли его появление за атаку врага и встретили огнем. Он сорвал фуражку, проткнул штыком и, выставив наружу, замахал ею.

Пули перестали щелкать по танку. Тогда Клименко рискнул и сразу выскочил по пояс, продолжая размахивать фуражкой и крича:

— Ша, ребята! Не надо шума! Это ж я... Клименко! Понимаешь, Клименко!

Танк сразбегу перепрыгнул окоп, и старшина слять пнул немца.

— Капут, ганс! Выключай, приехали.

Моряки с хохотом и криками облепили танк. Клименко вылез наружу, таща за шиворот немца. Веселый, потный, он сверху поглядел на друзей и прыгнул на землю.

— Принимай ганса... Понятливый оказался, не вовсе Адольф его затуркал.

Дружеские руки схватили старшину, и он взлетел на них, кувыркаясь в воздухе.

— Отставить аврал! Что тут за юбилей?

Выпущенный друзьями, едва устояв на ногах, Клименко вытянулся.

— Товарищ старший лейтенант, старшина Клименко из операции на трофейном танке прибыл.

— Ничего не понимаю, — сказал Петров, — откуда танк?

— Так я ж его привел, — внезапно смутясь, тихо сказал старшина.

Лейтенант Петров пристально посмотрел на него, подошел к танку, критически оглядел его, и лицо его широко осветилось самой мальчишеской ухмылкой, начисто стершей маску сурового вояки.

— Ну и штука! — произнес он. — Зайдете потом ко мне и доложите подробно. А пока отдохните и приведите себя в порядок.

Клименко, следуя за взглядом лейтенанта, посмотрел на свои ноги. Сапоги были в крови.

— Есть, — ответил он и затоптался на месте.

— Ну, что еще? — спросил Петров, видя, что слова рвутся с языка старшины.

— Я насчет того... Разрешите, товарищ старший лейтенант, отдать этот гансов чайник тому нашему танкисту?... Я ж для него и постарался. Жаль было хлопчика. Очень он за своим танком страдал...

— Разрешаю, — ответил лейтенант, и голос его странно дрогнул.

— Ребятки, давай танкиста! — обрадованно крикнул Клименко.

Танкиста приволокли из блиндажа заспанного, недоумевающего. Он растерянно мигал, оглядывая танк, Клименко, моряков. Старшина хлопнул его по плечу.

— Получай, браток, — сказал он ласково, — отдаю задаром потому, шо братство по оружию. Мы — вам, вы — нам. Там внутри попачкано ма-дость, так ты сам прибери. А в общем машинка исправная... Катайся на этом рысаке, сколько понадобится... И, не ожидая ответа, отвернулся с таким видом, словно ему уже давно наскучило дарить танки.

Ноябрь 1942 г.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Он стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в куцом пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные, посинелые губы дрожали, но темные глаза пристально и почти строго были устремлены в глаза капитана.

Он не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего посетителя батареи, — этого сурового мира взрослых, опаленных порохом людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протертые на носках, и все время переминался с ноги на ногу, пока капитан разбирал препроводительную записку, принесенную из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика:

«...был задержан утром у переднего края... по его показаниям, он в течение двух недель наблюдал за немецкими силами в районе совхоза «Новый путь»... направляется к вам как могущий быть полезным для батареи...»

Капитан сложил записку и сунул ее за борт полубубка. Мальчик продолжал спокойно смотреть на него.

— Как тебя зовут?

Мальчик выпрямился, вскинув подбородок, и попытался щелкнуть каблуками, но лицо его свело болью, он испуганно взглянул на свои ноги и, понурясь, торопливо сказал:

— Николай Вихроз, товарищ капитан.

Капитан посмотрел на его туфли и покачал головой.

— Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихроз. Ноги застыли?

Мальчик потупился. Он изо всех сил старался удержаться от слез. Капитан подумал о том, как он пробирался ночью в этих туфлях по железной от мороза степи. Ему самому стало зябко. Он передернул плечами и, погладив мальчика по красной щеке, сказал:

— Добро! У нас другая мода на обувь... Лейтенант Козуб!

Маленький крепыш лейтенант козырнул капитану.

— Прикажите начхозу немедленно подыскать и принести мне в каземат валенки самого малого размера.

Козуб рысью побежал исполнять приказание. Капитан взял мальчика за плечо.

— Пойдем в мою хату. Обогреешься — поговорим.

В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Краснофлотец помешивал кочережкой угли. Оранжевые отблески дрожали на белой стене. Капитан снял полушубок и повесил на крюк. Мальчик, озираясь, стоял у двери. Вероятно, его поразила эта сводчатая подземная комната, сверкающая эмалевой белизной риполина, залитая сильным светом лампы.

— Раздевайся, — предложил капитан, — у меня тут жарко, как на артекском пляже в июле. Грейся!

Мальчик стянул с плеч пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану понравилось его бережное отношение к одежде. Без пальто мальчик оказался маленьким и очень худым. Капитан подумал, что он, наверное, крепко поголодал.

— Садись! Сперва закусим, потом дело. Был, понимаешь, в старое время какой-то полководец,

который изрек, что путь к сердцу солдата пролегает через желудок. Довольно толковый был мужик. Боец с полным животом стоит пяти голодных... Чай любишь крепкий?

Капитан налил доверху свою толстую фаянсовую кружку темной дымящейся жидкостью. Отрезал здоровый ломоть буханки, наворотил на него масла в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копченой грудинки. Мальчик почти испуганно покосился на этот чудовищный бутерброд.

— Клади сахар!

И капитан придвинул гостю отпилоч шестидюймовой гильзы, набитый синеватými, искристыми, как снег, кусками рафинада. Мальчик исподлобья посмотрел на капитана странным взглядом, осторожно взял кусочек сахару поменьше и положил рядом с чашкой.

— Ого, — засмеялся капитан, — вон как ты от владкого отвык. У нас, брат, так чай не пьют. Это только напиток порча.

И он с плеском бухнул в кружку увесистую глыбу сахара. Худое лицо мальчика сморщилось, и из глаз на стол закапали неудержимые, очень крупные слезы. Капитан вздохнул, придвинулся и обнял костлявые плечи гостя.

— Ну, полно! — произнес он весело. — Брось! Что было, то сплыло. Здесь тебя не обидят. У меня, понимаешь, вот такой же павиан, вроде тебя, есть, только Юркой зовут. А во всем прочем, — как две капли, и нос такой же пуговицей.

Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слезы.

— Это... я ничего, товарищ капитан... я не за себя разнюнился... Я маму вспомнил.

— Вон что, — протянул капитан, — маму? Мама жива?

— Жива, — глаза мальчика засветились, — толь-

ко голодно у нас. Мама по ночам от немецкой кухни картофельные ошурки собирала. Раз часовой ее застал. По руке — прикладом... До сих пор рука не гнется...

Он стиснул губы, и из глаз его уплыла нежность. В них родился жесткий и острый блеск. Капитан погладил его по голове.

— Потерпи... Маму выручим. Ложись, вздремни. Мальчик умоляюще посмотрел на капитана.

— Потом... Я не хочу спать. Сперва расскажу про них.

В его голосе был такой накал упорства, что капитан не настаивал. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот.

— Ладно, давай!.. Сколько, по-твоему, немцев в совхозе?

Мальчик ответил быстро, без запинки:

— Первое — батальон пехоты. Баварцы. Сто семьдесят шестой полк двадцать седьмой дивизии. Прибыли из Голландии.

Капитан удивился четкой точности ответа.

— Откуда ты это знаешь?

— Видел на погонах цифры. Слушал, как разговаривали. Я по-немецки в школе хорошо занимался, все понимаю... Потом рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков. По северному краю совхоза окопы. Два ДОТа с полевыми и противотанковыми пушками. Они сильно укрепились, товарищ капитан. Все время цемент грузовиками таскали. Я из окошка подглядывал.

— Можешь точно указать местоположение ДОТов? — спросил, подаваясь вперед, капитан. Он вдруг понял, что перед ним не обыкновенный мальчик, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик.

— Большой ДОТ у них на бахче за старым тском... А другой...

— Стоп! — прервал капитан. — Это здорово, что ты так хорошо все выследил. Но, понимаешь, мы же в твоём совхозе не жили. Где бахча, где ток — нам неизвестно. А морская десятидюймовая артиллерия, дружок, штука серьёзная. Начнем гвоздить наугад, много лишнего перекрошить можем, пока в точку посадим. А там ведь и наши люди есть... И мама твоя...

Мальчик взглянул на капитана с недоумением:

— Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет?

— Карта есть... да разве ты в ней разберешься?

— Вот ещё, — сказал мальчик с небрежным превосходством, — у меня же папа геодезист. Я сам карты чертить могу... Папа теперь тоже в армии, он командир у саперов, — добавил он с гордостью.

— Выходит, что ты не мальчик, а клад, — пошутил капитан, развертывая на столе штабную полукилометровку. Мальчик встал коленками на табурет и нагнулся над картой. Лицо его оживилось, палец уперся в бумагу.

— Вот же, — сказал он, счастливо улыбаясь, — как на ладошке. Карта у вас какая хорошая! Подробная, как план... Вот тут за оврагом и есть старый ток.

Он безошибочно разобрался в карте, как опытный топограф, и вскоре частокोल красных крестиков, нанесенных рукой капитана, испятнал карту по всем направлениям, засекая цели. Капитан был доволен.

— Очень хорошо, Коля! — он одобрительно потрепал плечо мальчика. — Просто здорово!

И мальчик, на мгновение перестав быть разведчиком, по-ребячьи прижался щекой к капитанской ладони. Ласка вернула ему его настоящий возраст. Капитан сложил карту.

— А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины — спать!

Мальчик не противился. Глаза у него слипались от еды и тепла, он сладко зевнул, и капитан ласково уложил его на свою койку и накрыл полушубком. Потом вернулся к столу и уселся за составление исходных расчетов. Он увлекся и не замечал времени. Тихий оклик оторвал его от работы.

— Товарищ капитан, который час?

Мальчик сидел на койке, встревоженный. Капитан отшутился.

— Спи! Тебе что до времени? Начнется драка — разбудим.

Лицо мальчика потемнело. Он заговорил быстро и настойчиво.

— Нет, нет! Мне же назад надо! Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет — я пойду.

Капитан изумился. Он и предположить не мог, что мальчик всерьез собирается вторично проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану казалось, что его гость еще не вполне проснулся и говорит спресонок.

— Чепуха! — рассердился капитан. — Кто тебя пустит? Если даже не попадешься немцам, то в совхозе можешь угодить под наши снаряды. Спи!

Мальчик насупился и покраснел.

— Я немцам не попадусь. Они ночами от мороза по домам сидят. А я все тропочки наизусть... Пожалуйста, пустите меня.

Он просил упрямо и неотступно, и капитану на мгновение пришла мысль: «А что, если весь рассказ мальчугана — обдуманная комедия, обман?» Но, заглянув в ясные детские зрачки, он отбросил это предположение.

— Вы же знаете, товарищ капитан, что немцы не позволяют никому уходить из совхоза. Если меня хватят утром и не найдут, маме худо будет.

Мальчик явно волновался за судьбу матери.

— Есть... все понял, — сказал капитан, вынимая часы. — Сейчас шестнадцать тридцать. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и еще раз сверим все. Когда стемнеет — тебя проводят. Ясно!

На наблюдательном пункте, вынесенном вплотную к пехотным позициям на рубеже, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую голубыми полосами снега, нанесенного ветрами в балки. Розовый свет заката умирал над полями. На горизонте темнели узкой полоской сады далекого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом он подозвал мальчика.

— Ну-ка, взгляни! Может, маму увидишь.

Улыбаясь шутке капитана, мальчик заглянул в окуляр. Капитан медленно поворачивал штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно Коля отстранился от окуляра и мальчишески радостно затеребил капитана за рукав.

— Скворешня! Моя скворешня, товарищ капитан! Честное пионерское!

Удивленный капитан цагнулся к окуляру. В поле зрения, высясь над сеткой оголенных тополевых верхушек, над зеленой в пятнах ржавчины крышей, темнел на высоком шесте крошечный квадратик. Капитан видел его совсем отчетливо на бледно-сизом небе. И это натолкнуло его на неожиданную мысль. Он взял Колю под локоть, отвел его в сторону и тихо заговорил с мальчиком под

недоуменными взглядами краснофлотцев-дальномерщиков.

— Понял? — спросил капитан, и мальчик, весь присняв, кивнул головой.

Небо потемнело. С моря потянуло ледяной колкостью зимнего ветра. По ходу сообщения капитан провел Колю на рубеж. Он вызвал командира роты, рассказал ему вкратце дело и приказал вывести мальчика скрытно за рубеж. Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту, и капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесенные мальчику в командный каземат начхозом батареи. Капитан ждал с тревогой — не грянут ли в этой тьме внезапные выстрелы. Но все было тихо, и капитан ушел к себе на батарею.

Ночью ему не спалось. Он без конца пил чай и читал. Перед рассветом он был уже на наблюдательном пункте. И как только на востоке посветлело и можно было различить на этой светлеющей полосе крошечный квадратик, — он подал команду. Первый пристрелочный залп башни расколол тишину зимнего утра. Гром медленно покатился над полями. И капитан увидел, как темный квадратик на шесте качнулся дважды и, после паузы, в третий раз.

— Перелет... вправо, — перевел для себя капитан и скомандовал второй залп. На этот раз скворешня не шевельнулась, и капитан перешел к огню на поражение обеими башнями. С волнением артиллериста он наблюдал, как в дыму разрывов полетели кверху глыбы бетона и бревна. Он усмехнулся и, после трех залпов, перенес огонь на вторую цель. И снова скворешня вела с ним дружеский немой разговор. Огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боеприпасов. На этот раз капитану повезло

с первого залпа. Над горизонтом полыхнула широкая полоса бледного огня. В туче дыма исчезло все — деревья, крыши, шест с темным квадратиком. Взрыв был очень сильный, и капитан с тревогой подумал о том, что мог наделать этот взрыв.

Запищал телефон. С рубежа просили прекратить огонь. Морская пехота, пошедшая в атаку, уже продвинулась к немецким окопам. Тогда капитан вскочил в коляску мотоцикла и в открытую помчался по полю на рубеж. От совхоза доносился пулеметный треск и удары гранат. Ошеломленные немцы, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо. С околицы уже мигали веселые флажки семафора, докладывая об отходе противника. Бросив мотоцикл, капитан побежал напрямик, через степь, по тому месту, где еще накануне появление человека вызывало шквал свинца. Над садами совхоза плыл серо-белый дым горящего бензина, и в нем глухо рычали рвущиеся снаряды. Капитан торопился к зеленой крыше между надломленными тополями. Еще издали он увидел у калитки закутанную в платок женщину. За ее руку держался мальчик. Завидев капитана, он кинулся ему навстречу. Капитан с ходу подхватил мальчика и стиснул его. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он уперся руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его. Коля стал перед ним, приложив руку к рыжей шапчонке.

— Товарищ капитан, разведчик Вихров задание выполнил.

Подошедшая женщина с замученными глазами и усталой улыбкой протянула руку капитану.

— Здравствуйте!.. Он, так вас ждал... Мы все ждали. Спасибо, родные!

И она поклонилась капитану хорошим глубоким русским поклоном. Коля стоял рядом с капитаном.

— Молодец! Отлично справился!.. Страшновато было на чердаке, когда мы начали стрелять? — спросил капитан, привлекая мальчика к себе.

— Страшно!.. Ой, как страшно, товарищ капитан, — чистосердечно ответил мальчик. — Как первые снаряды ударили, так все и зашаталось, будто проваливается. Я чуть не махнул с чердака. Только стыдно стало. Сам себе говорить начал: «Сиди... сиди!» Так и досидел, пока склад рвануло. А после и не помню, как внизу очутился.

И, сконфузясь, он уткнулся лицом в полушубок капитана, маленький русский человек, тринадцатилетний герой с большим сердцем, — сердцем своего народа.

Май 1942 г.

ПОЛОСАТАЯ СМЕРТЬ

Мы только что заняли эту деревню. Бой был недолгий, но злобный. Немецкие автоматчики угнездились на чердаках, в подпольях изб, в погребах. Неумолчный треск автоматов напоминал грохот нескольких десятков клепальных молотков, чеканящих на верфи заклепки в корабельном корпусе.

В этот треск врывались разрывы наших гранат, которыми мы забрасывали немецкие берлоги. И чем чаще трескали гранаты, тем реже и слабее становился назойливый, отвратительно щекочущий нервы автоматный стрекот. Скоро он умолк совсем. Рыжий, кисло-терпкий дым от гранат плавал между избами, выползая струями из окон, из отдушин погребов. С сухим шорохом и скрипом

разгоралась тесовая крыша избы, подожженной с чердака заброшенной туда гранатой.

Я и мой отделенный командир и друг, Вася Безенчук, ползли рядом по огородной ботве. Из чердачного оконца показалось черное от копоти и крови, искаженное лицо. Немец, одичало выпучив глаза, корчился в оконце, стараясь протиснуться наружу из пылающей мглы чердака, которая становилась для него могилой. Я указал Безенчуку на немца. Он припал на колени и вжал приклад в плечо. Немец, уже пролезший в оконце до бедер, будто сломался пополам и повис вниз головой. Его вытянутые руки судорожно вздрогнули, скрылись и застыли.

— Нехай упокоиться, — хмуро проворчал Безенчук на мой вопросительный взгляд, — никто его не кликав по нашим горищам лазать.

— Живьем бы взяли, — нерешительно обронил я.

— На вищо? — крикнул Безенчук, тараща на меня круглые от злости глаза. — Шоб ця гадюка ще наш хлеб йила? А вин тебе пожалкував бы?

Я смолчал. Возражать не приходилось. Немец полностью заработал кусок свинца, раскаленного, как ненависть Безенчука.

Краснофлотцы, подтащив к избе лестницу, уже карабкались на крышу с добытыми где-то топорами и баграми, чтобы растащить тес и сбить огонь. В деревне все затихло. Пулеметы уже рокотали за окраиной, дальше к западу, поливая отходящих немцев. Из-за изб вывернулся лейтенант Гаврилов. Его юное лицо было опалено румянцем боевого возбуждения. Потрясая трофейным автоматом, он крикнул:

— Взвод, ко мне!

Сбегаясь со всех сторон, мы окружили лейтенан-

та. Но собрался не весь третий взвод. Нехватало девятерых. Мы оставили их на подступах к этой проклятой деревушке.

— Положение такое, — сказал лейтенант: — первый и второй взводы ведут бой на западной окраине и окапываются на случай чего. Наш взвод в боевом резерве. Приказано прочесать деревню по избам, от двора к двору. Не исключено, что где-нибудь зарылись немцы. Разбиться по-двое! Прочитать каждый закоулочек! Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант, — ответили мы негромко и не очень дружно. В нас еще трепетала лихорадка боя, которая сорвала обычную согласованность ответа.

Мы вернулись к восточной околице и начали прочесывание. Но живых немцев обнаружить не удалось. Наши гранаты поработали наславу. Заглянув в одну избу, откуда особенно упорно хлестал автомат, я невольно зажмурился и попятился. Мирное жилище было вывернуто наизнанку и размолочено взрывом. На линиях голубых обоях в клеточку всюду налипли жирные красные брызги, а посреди сосновой щепы стола громоздилась страшная куча, в которой с трудом можно было узнать труп врага.

Закончив прочес, мы собрались на противоположной окраине деревни. Лейтенант приказал нам отдохнуть под прикрытием амбара, а сам отправился к командиру роты за приказаниями. Мы приставили наше оружие к замшелой бревенчатой стене и расселись на траве, задымив папиросками.

Я прислонился спиной к закрытой двери амбара и, закинув голову, смотрел в синеву спокойного сентябрьского неба, по которому ползли перистые облачка, уходя на запад, к морю. Мне не хотелось

думать ни о чем. Необыкновенно тихий покой разливался в теле, утомленном напряжением боя.

И вдруг я вскочил, ощутив толчок в спину. Вероятно, мое движение было таким порывистым и нервным, что вслед за мной поднялись и остальные, торопливо хватая оружие. Защелкали затворы. Я смотрел на дверь. Она вздрагивала от мелких толчков: кто-то явно пытался открыть ее изнутри.

Остранив меня, Безенчук решительно взялся за деревянную ручку и рванул дверь на себя. Десяток наших штыков сразу ошетинился в распахнутый проем.

Там стояла женщина. Она смотрела на нас странным взглядом синих, расширенных глаз. Была молода, невелика ростом. Ситцевая кофта в желтых розанчиках болталась ключьями на ее плотно сбитом корпусе деревенской здоровой молодухи. Крупные загорелые руки были крепко притиснуты к груди, придерживая полотняный сверток с пятнами побурелой крови.

— Кто такая, гражданка? — сурово спросил Безенчук, но отвел назад штык.

Женщина молчала. Взгляд ее, пустой и дымный, медленно скользил по нашим лицам. Безенчук повторил вопрос. Быстрый живчик дернул веко левого глаза женщины. Она шагнула на Безенчука, рывком выбросила вперед прижатые к груди руки. От этого резкого жеста полотно взметнулось и свисло к земле. Мы увидели на руках женщины тело девочки лет трех. Розовая выцветшая распашонка задралась к ее подбородку. На голом втянутом животе налип кровавый сгусток.

Мы молча переглянулись. Острый холодок пошевелил наши волосы. Расспрашивать было не нужно. Безенчук приблизился к женщине и, осто-

ржно касаясь ее плеча, очень приглушенно и ласково сказал:

— А де ж ваша хата, мамо? Ходимте. Треба ж обмыты та поховаты дите.

Женщина уперлась взглядом в Безенчука и медленно отрицательно повела головой. Безенчук растерялся. Я видел, как у него затряслись губы.

— Она сошла с ума, понимаешь? — шепнул я.

Женщина повернула голову ко мне и снова, с той же устрашающей медленностью, качнула ею, отрицая мою догадку.

Мы стояли растерянные, не зная, что делать, что сказать этой окаменелой матери. Нужны были особенные слова, а у нас их не находилось. И пока мы их вспоминали, она заговорила сама. И голос ее был похож на смутное бормотание воды, льющейся ночью по камням оврага.

— Что вы стоите? Что смотрите? Они убили ее! Дочку мою убили! Что ж вы смотрите? Дожгите их. Выберите из них черные их души... Чего вы ждете? Чего? Бойтесь? Трусые!.. Трусые!

Голос ее был страшен тем, что в нем не было ни боли, ни ярости, ни гнева. Он был розен и тускл. Он был мертв, как ребенок на ее руках.

Челюсти Безенчука сжались, лицо побелело. Он шатнулся, как от удара в лицо. Отступив на шаг, он выкрикнул, стараясь заглушить этот неживой голос:

— Мамо! Мамо! Не треба так!.. Гляньте, скрозь лежать ваши злодии. Мы ж их не шадимы, ни... Мы платимо, мамо, за ваше дите ихней смергью... Мы наших жизней не жалкуемо, мамо, щоб не було бильш народу муки от катюг... За що ж вы лаєте нас, мамо?

Женщина слушала Безенчука, не шевелясь, не сводя с него угрюмого взгляда. И внезапно высо-

ко подняла труп девочки на вытянутых руках к прозрачному осеннему небу.

— Поидем!.. Я пойду с вами!.. Я поведу вас.. я покажу, где их нора... дочка моя знает, где они спрятались, волки... Мы убьем их, всех до одного. Идем!

Я стоял, опустив голову, как побитый, и во мне дрожал каждый нерв. Женщина явно лишилась рассудка. Но Безенчука эти слова, этот неживой тоскливый голос били в сердце. Он весь съежился и, ухватив женщину за поднятые руки, умолял:

— Що ж вы робите з нами, мамо? Не кажите так, бо неможно слухать. Коли вы ще попрекнете мене, то я ж могу дисциплину нарушить... Я ж пойду бить тих злодиев без приказу... Заспокойтєся, мамо!

Я взглянул на товарищей. Они столпились около женщины в страшном молчаливом напряжении, и я думаю, что, бросься в эту минуту Безенчук вперед, мы все помчались бы за ним, не рассуждая, зачем и куда.

Но как раз во-время возвратился лейтенант Гаврилов. Его молодой, ясный голос вернул нам равновесие. Выполняя команду лейтенанта, мы двинулись к рубежу, на котором вели бой наши взводы. В перебежках мы оглядывались назад. Женщина все стояла у двери амбара с поднятым кверху трупом девочки, как бы напоминая нам о мести и благословляя на нее.

Мы во-время заполнили стык между взводами. Из дальней роши вырвались два приземистых черных танка и, брызжа огнем, помчались к дренажной канаве, за валиком которой мы заняли огневую позицию. За танками густыми цепями повалила через болото немецкая пехота.

— Психуют. — с кривой усмешкой кинул мне сосед слева, Щепов, загоня обойму в винтовку.

Залились наши пулеметы. Над головами с ревом пронесся снаряд из нашего тыла, и на пути головного немецкого танка встал черный столб дыма. Это ударила по танкам наша батарея. Второй залп накрыл танк. Яркое желтое пламя рванулось из всех его щелей, как из горелки примуса. Он завертелся на месте и завалился набок.

Но второй еще мчался вперед, и за ним, воя и стреляя на ходу, бежали немцы.

Из пушки танка вырвался огневой язык. Я закашлялся от удушливого дыма. Дым отнесло. Вдоль валика полз лейтенант Гаврилов. Он зажимал рот рукой. Между пальцами сочилась кровь.

В эту минуту по линии пронеслась передача приказа:

— Приготовиться к контратаке.

И тогда рядом со мной встал во весь рост Безенчук. Он крикнул:

— Взвод! Слухай мою команду!.. Братики, покажем гадам, шо таке моряки з Кронштадта... Прочь хворменки, шоб душе легше!

И на наших глазах старшина Безенчук, закинув руки назад, одним махом сорвал с себя форменку. Нас словно поднял порыв ветра. Безмолвно и быстро мы сделали то же. Вдоль канавы запестрели морские тельняшки. Безенчук одним прыжком вскочил на валик:

— В атаку братики! За матерей наших, за женок, за усё! Вперед!

Мы перемахнули валик одной волной, молча, без вскрика.

Впереди меня широким волчьим махом бежал Безенчук, с силой выбрасывая ноги, и я не мог догнать его, хотя был хорошим бегуном на коротких дистанциях. С разбегу Безенчук настиг вислозадного немца и, хрипнув, вогнал штык в его спину. Я промчался мимо него, когда он выпрастывал

завязший штык. Я догонял намеченного мной немца. И, когда уже поднял винтовку для удара, меня ошеломляюще хлестнуло по левой стороне головы, и кочки болота стремглав бросились мне в лицо.

Я очнулся на перевязочном пункте. Голова была плотно обмотана бинтом, пересекавшим левый глаз. Я повернул голову и, морщась от боли, увидел рядом с собой Безенчука. Возле него на коленях стояла санитарка и бинтовала его выгнутую ногу.

Встретив мой взгляд, Безенчук ухмыльнулся:

— Очнувся? От-то добре!

— Как атака? — спросил я.

— Всяко було, — ответил он, отводя глаза, — помстили мы им и за дите и за маты. Лежить ихнее падло, аж от самого села до дибровы. Хай их жинки зараз польють слёзы, хай помучаться.

Санитарка завязала кончик бинта и встала.

— Ну, и все... Сейчас отправим вас, товарищи, в тыл.

Безенчук иронически скосился на нее и поднялся.

— У тыл? — спросил он насмешливо. — От-то поважились, сестрыця. Тыльки нас там и не було для компании... Костка у мене цила?.. Так який же може буты тыл, колы война не скинчена? Гайда, Витька, до роты.

Я посмотрел на хмурого Безенчука, на ошарашенную санитарку, и мне стало весело. Я тоже поднялся, пошатываясь. Голова гудела, как колокол. Осколок мины резнул меня вкось по левому виску.

— Дякую, сестрыця, за ласку. Бувайте здоровеньки!

Безенчук сделал любезный жест санитарке и взял меня под руку. Мы пошли — один качаясь

от слабости, другой припадая на ногу — к боевой линии. Навстречу нам из-за изб вышло четверо наших ребят, ведущих в тыл десятка полтора пленных. Первым, вжав голову в приподнятые плечи, шел высокий обер-лейтенант, без головного убора. Ветер шевелил его сероватые волосы.

Безенчук остановился и пристально смотрел на немца. Тот, почувствовав упорный чужой взгляд, вскинул голову. Увидев Безенчука, он сразу сбился с шага и попятился. Все тело его выразило непроизвольный испуг.

Конвойные приветствовали нас дружеским смешком.

— Здорово, инвалидная дивизия! — крикнул второвзводник Сивцов. — Воевать бредете?

— А то? — ответил Безенчук и, прищурясь на пленного, спросил: — Куды же вы гоните падло?

— В дом отдыха, — осклабился Сивцов. — им нужно нервочки подлечить. бо мы на них страху понагнали, сколько надо. Вот этот самый, — он ткнул штыком на офицера, — как мы его брали, забился башкой в воронку от мины. Одна корма кверху торчала. Трясся, что кролик. Капитан его допрашивать стал, а он только челюстью клацает, слова не выговорит. Потом бормотать стал что-то и ручками всплескивать. Капитан нам объяснил, что он нас все «полосатой смертью» обзывал. Тельняшки наши, значит, ему не по характеру пришлись.

Безенчук все разглядывал немца с недоброй ухмылкой и медленно выжал сквозь зубы:

— Полосата?.. Эх, лихо, шо вин по-нашему не тямить, а то казав бы я ему, шо воны же всяку смерть у нас побачуть... И полосату, и в крапочках, и саму шо ни на есть собачую... Геть ты, катюга!

По голосу Безенчука немец, хоть и не понимая

слов, почувствовал всю страстность презрения старшины. Он глубже вобрал голову в плечи и отвернулся. Группа зашагала дальше. Безенчук еще долго смотрел на сутулую спину немца, пока она не скрылась за избами и, брезгливо передернув спиной, с остервенением плюнул в траву.

Май 1942 г.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

Это было на первых боевых стрельбах из винтовки. Старший лейтенант Воронков с очень неприятной усмешкой осмотрел мою целехонькую мишень и, поджав губы, сказал без раздражения, но очень сухо:

— Интересно! Пошли ваши пульки покупать у бабки простоквашу.

И под сочувственный гогот всего взвода старший лейтенант махнул рукой на лежащую за стрельбищем деревушку, где мы действительно добывали себе густую жирную простоквашу у старой карелки.

Я стоял красный и злой, с яростью стиснув пальцами дульную накладку винтовки. Шутка старшего лейтенанта показалась мне плоской. Я не испытывал особого огорчения от своей неудачи. В конце концов я готовился быть в жизни архитектором, а не стрелком. Мне казалось важнее знать в совершенстве каноны Витрувия и Палладия, чем попадать из винтовки в безобразно размалеванный кусок фанеры, изображающий голову и плечи пехотинца фантастической армии. Служба во флоте была для меня только неизбежным пятнадцатилетним эпизодом, а зодчество — желанным творчеством и смыслом моего существования.

Когда мы вернулись со стрельбища на корабль, Воронков приказал мне после обеда явиться к нему в каюту.

Я пришел с обиженным видом. Разговор был мало приятный. Лейтенант уже не шутил. Строго и серьезно он сказал мне, что я позорю не только взвод, но и весь корабль, и что стыдно мне, человеку с высшим образованием, стрелять хуже колхозных ребят.

— Вы, насколько я понимаю, даже не волнуетесь и считаете свою стрельбу нормальной... Но этот номер вам не пройдет. Я буду заниматься с вами отдельно, и, будь я не командир, если я не сделаю из вас снайпера.

Я хотел возразить, что звание снайпера не слишком прельщает меня, но, взглянув на лейтенанта, удержался. Я понял, что подобная философия может быть награждена порцией нарядов вне очереди, вздохнул и почти робко попросил у Воронкова разрешения быть свободным.

С этого дня началось мое мучение. Когда остальные товарищи отдыхали от занятий, читали, пели, развлекались, — я часами торчал у прицельного станка под неусыпным наблюдением старшего лейтенанта. Я без конца наводил винтовку с зеркальцем и без зеркальца, спускал курок и громко докладывал, куда в момент спуска увалилось дуло: вправо, влево, вверх, вниз... День ото дня мои упражнения становились все длительнее и сложнее. Я изучал прицелы простые и оптические, деривации, траектории, влияния на полет пули атмосферных условий, температуры, ветра и прочую баллистическую премудрость. Напрасно я питал надежду, что лейтенанту когда нибудь да надоест же возиться со мной. Ведь я отнимал и у него время досуга, а Воронков был немногим старше меня, любил повеселиться и сходить с де-

вухами в театр или кино. Но он оставался неумолимым и отдавал все свое время занятиям со мной.

Я похудел. По ночам меня начали преследовать кошмары. Моя винтовка разгуливала по кубрику на коротких кривых ножках, приросших к прикладу. Она подходила к моей койке, любезно кивала штыком и, срывая рукоятку затвора с меня одеяло, приглашала прогуляться с ней под ручку в тир. Так шла неделя за неделей. Но на следующих стрельбах я, даже не думая об этом, добился отличных результатов.

Как ни странно, но, несмотря на возросшую неприязнь к винтовке, я посмотрел на нее после этих стрельб с непонятной мне самому гордостью и симпатией. И уверенно ждал похвалы старшего лейтенанта Воронкова.

Но он твердо гнул свою линию. Подсчитав мои очки, он обронил небрежно и вскользь:

— Плоховато! Всякий салажонок может так стрелять.

Я освирепел. Теперь уже во мне разыграло разъяренное самолюбие. Я не понял хитрого педагогического приема лейтенанта и решил, что покажу ему, на что способен потомственный интеллигент. Уже без всякого принуждения, по собственному почину, я снова проводил долгие часы у прицельного станка и зубрил наизусть пособия и руководства по стрельбе из нарезного оружия, которые удалось добыть в библиотеке ДКАФ. Старший лейтенант Воронков делал вид, что не замечает моего рвения.

Весной я заявил ему, что берусь три раза подряд выбить максимальное количество очков по любому упражнению. Воронков пржал плечами и заметил, что самомнение всегда казалось ему моим неотъемлемым и худшим качеством. Тогда, вопреки дисциплине, я предложил ему пари на

два кило шоколада «ассорти». Я думал, что он взгреет меня за это предложение, но, против ожидания, он принял пари.

Утром мы отправились в тир отряда. Лейтенант поставил мне на двести метров выскакивающую головную мишень, в которую я должен был выпустить трижды по пяти патронов. Я укладывался на валик не без волнения. Еле заметная точка выскакивала вдалеке на краткие мгновения. Когда в стенах тира замер отгул последнего выстрела, мы пошли к мишени. Я предоставил лейтенанту считать пробоины, а сам стоял, победоносно усмехаясь, хотя на душе у меня скребли кошки. Когда лейтенант поднялся, выражение лица у него было смущенное, но в зрачках мерцали подозрительные искорки. Он нехотя проямлил:

— Да... теперь вы стреляете ничего себе...

Я засмеялся каким-то бляньем, которое казалось мне похожим на мефистофельский смех.

«Ничего себе?» Это было больше, чем ничего себе. Пятнадцать пуль легли под козырек намазанной на фанере каски в кружок диаметром не более пяти сантиметров. Некоторые пули почти влезали одна в другую.

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант? — сказал я Воронкову.

— Пожалуйста, — снисходительно ответил он.

— Я хотел бы знать, зачем, собственно говоря, мне возиться с винтовкой, когда в современном морском бою нам даже не придется браться за нее? Не будем же мы ходить на abordаж? Так зачем моряку винтовка, если дело решается орудийным огнем на дистанциях порядка двадцати километров? Или это сила традиций?

Мне казалось, что я высказываю неопровержимые саркастические мысли, и я чувствовал себя победителем. Но Воронков покосился на мою

небрежно отставленную ногу, на мою развязную позу и вдруг обдал меня ледяным душем командирского голоса:

— Станьте как следует, когда разговариваете с командиром! Где ваша ножка? Тут вам не балет «Лебединое озеро». И отучитесь задавать глупые вопросы. Вы еще узнаете, что такое винтовка.

Он повернулся и пошел из тира. На ходу, не оборачиваясь, крикнул:

— Хорошенько вычистите ствол! Завтра явитесь ко мне за получением шоколада. Пари есть пари, поскольку я имел неосторожность его допустить.

Два кило «ассорти» я разделил с однозвонцами. Мы уплетали шоколад, посмеиваясь моей удаче. Но старший лейтенант Воронков, не способный понять большие порывы человеческой души, стал для меня воплощением сухого формализма. И то, что приказом я был зачислен в снайперскую команду, не вызвало у меня чувства благодарности и удовлетворения.

На второй месяц войны нас неожиданно сняли с корабля и вместе с другими экипажами отправили ликвидировать немецкий танковый прорыв под Кундой. Ночью мы сменили на позиции расстрепанную пехотную часть. Позиция тянулась по правому берегу худосочной речонки Сельи, через которую свободно бродили эстонские куры, нагло не признавая состояния войны. На рассвете старший лейтенант Воронков вызвал к себе шестерых снайперов роты.

— На берегу для вас подготовлены ячейки. Сейчас займете их по порядку номеров. На той стороне Сельи противник. Вести наблюдение! Кто покажется в пределах досягаемости — снимать. Бить наверняка! За бесцельную трескотню буду драить нещадно!

Мы поползли, каждый к своей ячейке. Я пробирался между лайковыми стволами берез в мокрой, душистой траве. Брюки и фланелька спереди мгновенно промокли насквозь. Но я не обращал на это внимания. Я бережно тащил свою снайперскую винтовку, остерегаясь задеть ею мельчайшую веточку. Роща оборвалась. Шагах в десяти, над самым обрывом берега, я заметил свежую желтизну земли у корявого пня: это была моя ячейка. Вжимаясь в траву, я подполз к ней. Ячейка была оборудована под корнями срубленной ели. Я забрался в нее, просунул винтовку между скрученными отростками корней и осторожно снял кожаный чехол с оптического прицела. Улегшись поудобнее, я прилип бровью к окуляру.

За мерцающей узкой чешуей реки лежал такой же песчаный берег с редкими березками. Сквозь их лихорадящую от ветерка листву вдали виднелись два полуразваленных сарая. По словам старшего лейтенанта, там, у околицы деревни, предполагались мотораезды немцев. От одного из сараев отходила обычная деревенская изгородь из прясел, приколоченных к кольям. Я медленно вел дуло винтовки вдоль этой изгороди и совсем неожиданно в разрыве листвы увидел его. Он вышел из-за сарая неторопливо и бесечно, видимо, никак не предполагая близости врага. Вдавлив бровь в окуляр, я рассматривал его. Сердце билось у меня не чаще, чем обычно, но очень тугими толчками. Мощная оптика прицела так приближала человека, что, казалось, протяни я руку, и она коснется его плеча. На нем был серый однобортный мундирчик, узкий в плечах, неуклюжие штаны, заправленные в низкие голенища. На плечах погончики с фельдфебельским кантом. Стальная каска с тупыми рожками покрывала голову. Он прошел шагов десять и присел на

прясло. Я видел его лицо с небритой порослью, унылый немецкий нос, вытянутый, как у борзой, пуговицы, медную пряжку пояса, ушки, вылезшие из голенищ. Острый треугольник моей мушки ползал по его лицу, как упрямая и назойливая муха.

Он оглянулся назад, на сарай, с опасливой миной зверька, вылезшего на открытое место из лесной чащи. Вынув из кармана грязный платок с голубой каемочкой, он, с аккуратностью хрестоматийного Ганса, расправил его на коленях. Потом полез за пазуху, долго копался там и, наконец, выложил на платок какой-то бумажный кулечек. Он развернул бумагу, и под солнцем что-то остро и желто блеснуло. Я навел мушку в центр платка и увидел золото.

На полуторастометровой дистанции я различал золотые вещички, разложенные на платке, так четко, словно они лежали на моих коленях. Там были брошки, золотая цепочка, пара часов. Одни — большие мужские, другие — крошечная дамская безделушка на браслетике. Узловатыми пальцами с квадратными ногтями он медленно перебирал драгоценности. Поднимал к лицу, любясь их блеском. Снова клал на платок. И все время по губам его ползала потаённая улыбка счастливого вора. Наконец он тщательно завязал кончики платка и отправил сверток за пазуху.

Теперь он повернулся ко мне грудью. На сером сукне мундира, над грудным кармашком передо мной тускло блеснул орден «железного креста».

Он поднял правую руку и стал пощелкивать ногтем указательного пальца по кресту, очевидно, любясь им. Видимо, в его сознании этот четырехконечный кусочек металла как-то связывался с другими металлическими игрушками, которыми он только что тешился.

У меня уже болела бровь от жесткого ободка окуляра, но я ни на миг не выпускал его из поля зрения. Мне вспомнилось давно читанное в какой-то энциклопедии описание прусского ордена «железного креста». Его учредил один из королей как высшую награду германского воина. Материалом для креста было избрано железо. Из него ковалось боевое оружие, его дешевизна должна была символизировать бескорыстие германца, отдающего жизнь за отечество, не думая о материальных благах. «Железные души украшаются железом», — сказал король заготовленную для исторического эффекта фразу.

И вот он сидел передо мной на другом берегу дрянной речонки, — германский «рыцарь», крестноносец с «железной душой», украшенный за «боевые добродетели».

С чьей груди рвал он броши, чьи руки выламывал, сдергивая часы, в чей живот всаживал штык, сдирая цепочку? На чью голову опускался приклад этого вора, грабящего во славу германского отечества?

Плечи у меня затряслись неожиданной крупной дрожью. Должно быть, я сильно промок, ползая в траве. Эту дрожь нужно было подавить. Она могла испортить мне выстрел. Я шире раздвинул ноги и несколько раз глубоко вдохнул хвойный воздух июльского утра. Потом продвинул мушку к ордену немца. Острие конуса остановилось под центральным кружком креста. Но я еще не стрелял. Я хотел быть совсем спокойным при спуске курка.

Склонив голову набок, немец сжимал крест между большим и указательным пальцами. Он наслаждался им.

Вздохнув в последний раз, я очень осторожно и плавно потянул крючок. Выстрела я не слышал,

лишь ощутил сильный толчок в плечо. Видимо, я весь переключился в зрение. И ясно видел, как пуля вышибла крест из его пащцев. Еще не понимая, что это смерть, он сделал невольное движение вновь поймать этот кусочек металла. Но скрюченные пальцы схватили воздух, и рука впиалась в мундир, как будто силясь разорвать сукно. Рот раскрылся, и на подбородок закапали темные капли. Ладонь сползла с груди, и окуляр показал мне смятый моей пулей крест. Немец медленно повалился через прясло на спину. Окованные каблуки его заскребли землю, вырывая траву...

Я окончил архитектурный институт. Я мечтаю о зодчестве итальянского Ренессанса, обновленном величием наших дней. Вечерами я люблю читать у себя в комнате стихи Блока. И я никогда не думал, что мне придется убивать.

Но я ощутил гордое удовлетворение, уничтожив эту человекоподобную мразь.

Мне лишь досадно, что я не мог перебраться на тот берег Сельи, снять с мертвеца клейменный моей пулей крест и принести его в роту. Мне хотелось подарить его старшему лейтенанту Воронкову в благодарность за то, что он сделал меня снайпером, и в память рождения во мне неугасимой ненависти бойца, которая дала меткость моему глазу и твердость руке.

Ноябрь 1941 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПЛЫВ

Из Таллина мы уходили последними. Улицы обстреливались немцами. Каждую минуту возникал в воздухе близящийся металлический визг. Он обрывался тупым ударом в камень, и, невидимый

за домами, грохотал разрыв. Куски штукатурки и кирпичей, осколки металла сыпались сверху. Позади, над серыми шиферными крышами, ярко пылала подожженная бомбой верхушка Олай-Кирхе.

Мы пробирались в гавань, прижимаясь к стенам домов. Дома стояли мертвые, с наглухо запертыми подъездами, с захлопнутыми ставнями. Было похоже, что по городу прошла молниеносная чума, умертвив все население.

В гавани пришлось бежать по открытому пространству, заваленному портовым имуществом: ящиками, бочками, баками, бунтами тросов, рельсами. Над всем этим хламом беспрестанно рвалась шрапнель. Пули шлепались в ящики, звякали по железу. В лужах воды и нефти лежали убитые.

Привалюсь бортом к стенке, как жмушийся к корове теленок, нас ждал транспорт. Он был очень жалок на вид, — инвалидный служака, весь в ржавчине, которая проступала сквозь серую окраску его помятых бортов.

Пробегая мимо его поджарой кормы, я прочел на ней «Герой».

Хотя было не до веселья, но я расхохотался на бегу. Уж очень нелепо выглядело торжественное название на этом древнем ящике. Мы с грохотом протопали по сходне на палубу. Вероятно, посудина Ноя, когда он собрался спастись от потопа, имела такой же вид. Все было завалено сундуками, чемоданами, рюкзаками. Пестрели наклейки: «Агитбригада краснофлотского театра», «Адмотдел управления тыла» и еще какие-то. В кишашей на палубе толпе было много женщин. Актрисы, жены командиров, работницы. Они были бледны, прически у них порастрепались, в глазах тревога, но держались спокойно и тихо. Между прочим, женщины в настоящей опасности всегда держатся

здорово. По пустякам могут впасть в истерику и наделать репуту на все море, но, если дело всерьез и нужно смотреть в глаза смерти, — то ведут себя молодцами. Мужчинам можно и пример ставить.

Но толкотня и гам на палубе были все же отменные. Транспорт небольшой, тысяча двести тонн, — а набралось на него без малого человек семьсот. Стояли в притирку. Однако кой-где уже устраивались по-хозяйственному. У фок-мачты даже кипел ведерный самовар, и к нему выстроилась очередь с чайниками.

Между тем шрапнельные шарики все чаще лопались в небе. С треском упала на стенку сходня. Палуба задрожала от работы винта. «Герой» медленно отползал задним ходом на середину гавани. Между бортом и стенкой ширилась зеленая полоса воды, покрытой опаловыми пятнами разлитой нефти.

Прижатый к борту, я смотрел на покидаемый город. Западная часть его тонула в буром дыму пожаров. Из дыма рвались огненные языки. Горечь и обида отступления нарастали в сердце.

И в эту минуту я услышал сверху хриплый сердитый голос:

— Товарищи командиры! Что это на палубе творится? Кончать базар надо! Беритесь за дело. Разложите барахло поаккуратней, чтоб ног не лсгать. Делайте все сами, — на корабле свободных рук нет. Гражданок женщин прошу перейти на корму в каютные помещения. Мужчинам оставаться на палубе... Поскорее, товарищи!

Голос показался мне необычайно знакомым. Я поднял голову к мостику. Свесясь через поручни, на меня смотрело лицо цвета сырого бифштекса, с бугроватым носом и серыми моржовыми усами. Я радостно удивился.

Командиром «Героя» оказался Степан Акимович Барсуков. Если вы не спортсмен — вам это имя ничего не скажет. Ну, а кто болел спортом, — те сразу вспомнят.

Был Степан Акимович самым преданным, самым жарким болельщиком Ленинграда по всем видам спорта. Сам профессии вовсе не спортивной — капитан речного буксира. Знаете, такие ободренные буксиришки с низким задом и откидной трубой, которые в летнее время ползают водяными жуками по Неве, Фонтанке и Мойке, таская баржи с дровами, песком и ладожскими гончарными изделиями. Жизнь на таких буксирах тихая и ленивая, как послеобеденный сон. А команда, чаще всего, тоже тихие пьяницы. Выпьет такой три кружки пива, впадет в меланхолию и начнет рассказывать штатному коту пивной, трущущемуся о его ноги, историю своей нерадостной жизни. Степан Акимович тоже был тихим заповохой, хотя юность свою прожил бурно. Двадцатидвухлетним матросенком за расклеивание прокламаций угодил с крейсера «Олег» в шестилетнюю каторгу. С каторги бежал. Переправился в утлой лодчонке на Аляску. Искал золото, держал ездовых собак, был совладельцем салуна, занимался фотографией. В революцию вернулся домой, плавал на волжской флотилии, командовал в Астрахани баржой-батареей и на двенадцатифутовом рейде раскатал, один-на-один, белый крейсер «Крюгер». Но по пристрастию к градусным напиткам карьеры на флоте не сделал. Вышел в запас, попал на речное пароходство и жил невылазно на своем буксире «Восьмое марта».

Но, помимо питейной страсти, была у Степана Акимовича и другая — благородная и возвышенная — спорт. Особенно обожал он плаванье и теннис. В дни всесоюзных соревнований на трибу-

нах обязательно виделось его мясистое лицо и моржовые усы.

«Болел» он пламенно и неудержимо. С неистовым пылом и темпераментом. Вскрикивал с места, хватался за голову, вскрикивал, ахал, подбадривал спортсменов одобрительными возгласами, бросал язвительные реплики неудачникам. Иногда публика больше смотрела на Степана Акимовича, чем на участников соревнования, и на трибунах вспыхивал раскатистый хохот, когда Барсуков, вытаращив глаза, срывал с лысины фуражку и скреб голову, изрыгая проклятия. В приезд прославленного чемпиона тенниса Коше Степан Акимович бушевал особенно неукротимо. Жизнерадостный француз, заметив неистового болельщика, сам развеселился до того, что не смог продолжать игру. Пришлось объявить перерыв и посадить к Барсукову двух теннисистов, которые сдерживали его порывы.

Но никто и никогда не сердился на Барсукова. Была в этом старом помятом пьянице обаятельная детская искренность его страсти к спорту, и, если на большом соревновании Степана Акимовича не оказывалось, спортсмены тревожились: не дал ли старик дуба?

Увидев Степана Акимовича на мостике «Героя», я обрадовался ему, как родному. В горькие минуты отступления он напомнил мне мирные дни, и от одного его вида мне стало легче. Я махнул ему рукой и крикнул:

— Степаң Акимыч! Эге! Вот на каком соревновании пришлось встретиться!

Но на мое искреннее приветствие Барсуков неожиданно сварливо прохрипел

— Товарищ интендант второго ранга, вы слышали приказание привести палубу в порядок? Так

не стойте столбом! И обращайтесь по уставу. Я вам не Степан Акимыч, а командир корабля.

Он явно умышленно вынес за поручни мостика руку в синем рукаве, на котором были нашивки старшего лейтенанта.

Я был жестоко обижен такой встречей. Я от-вернулся от Барсукова и принял посильное участие в размещении на палубе груды имущества. Потом присел у борта на чей-то чемодан, вынул из кармана кителя «Сигнал бедствия» Роже Версея, захваченный из библиотеки базового клуба, и погрузился в чтение. Мерно постукивала дряхлая машина «Героя». Транспорт вышел в море и полз к востоку вдоль низкого песчаного взморья, поросшего сосняком и усеянного дачными домиками. Вечер был тихий и дымный. Море отражало зеленовато-льדיстое небо наплывающей белой ночи. Я отложил книгу. Досада на Барсукова становилась острее. Я со злостью подумал, что стоило человеку стать начальством даже на такой несчастной посудине, как «Герой», чтобы он сразу обнаружил свои худшие качества.

Среди этого раздумья ко мне подошел краснофлотец в брезентовом рабочем платье и, козырнув, сказал:

— Товарищ интендант второго ранга, командир корабля приказал вам притти к нему на мостик.

В раздражении я хотел ответить, что если командиру корабля угодно меня видеть, то он сам может спуститься ко мне. Но голос дисциплины преодолел злость, и я направился на мостик. При моем появлении Степан Акимович подошел ко мне мелкими быстрыми шажками, протягивая руку. Под серыми усами его цвела самая радушная улыбка.

— Не сердитесь, дорогой, что я вас огрел, — сказал он добродушно, сами понимаете — вон какая

у меня тут публика собралась. С бору, с сосенки. Если командирский авторитет не поддержишь сразу, — сумасшедший дом будет.

В глазках Степана Акимовича было такое искреннее сожаление, что я сердечно пожал его шершавую, как напильник, ладонь.

— Да, — продолжал он, — вот уж не думал вас тут увидеть. Плохо, знаете. Лоханка моя чуть на воде держится, днище ржавое, как решето. Вооружения всего — вот эта трещалка, — он презрительно пнул ногой тумбу установленного на мостике пулемета, — а народу гибель. Одних женщин больше полсотни. И за всех я в ответе. Обязан доставить благополучно.. Ну, а если налетят?

Он тревожно заглянул мне в глаза.

— Ну, может быть, и не налетят. Зачем налетать на эту консервную коробку? Немцы заняты сейчас целями покрупнее, — ответил я, подумав о вышедшем за несколько часов до нас большом караване.

— Так-то так, а все же беспокойно... Чайку хотите хлебнуть? У меня в рубке чайничек готов.

Я охотно согласился. Степан Акимович ввел меня в тесную рубку, налил чашку чаю и придвинул блюдечко с вареньем.

— Угощайтесь!

Он присел против меня, положив на стол руки и покачивая головой.

— Эх, время какое пришло... А помните, в прошлом году Новиков как играл? Смертельные удары! Особенно левый драйв... А Чистов сдает... Как я и предсказывал, ни черта из него не выйдет. Фитюлька!

И Степан Акимович сразу забыл о своем командирском беспокойстве. Он вытаскивал из своей спортивной памяти знаменитые эпизоды соревнований, спортивные анекдоты, заплывы Китаева, Але-

шиной, Бойченко... Многого я даже не мог вспомнить, а Степан Акимович все больше горячился. Он даже начал подпрыгивать, как некогда в азарте на трибунах.

Но воспоминания были прерваны появлением старшины.

— Товарищ старший лейтенант, — доложил старшина, — с севера самолеты.

Степан Акимович вскинулся. Нахлобучив фуражку, он выскочил на мостик. За ним выбежал и я. На палубе звучал сигнал воздушной тревоги. Пулеметчик разворачивал единственный пулемет «Героя» навстречу самолетам. Под мостиком разрастался встревоженный говор. Люди потянулись к правому борту, смотря в небо. Степан Акимович подскочил к обвесу.

— Разговорчики прекратить! От борта долой! Всем оставаться на местах и не трогаться без приказа.

Хриплый голос Барсукова окреп и зазвучал чисто и властно. И сам он как будто стал сразу выше и плотнее. Я подумал, что таким он, наверное, был в молодости, когда раскатывал под Астраханью белый крейсер. Взглянув на север, я увидел на бледном небе чуть заметные силуэты самолетов. Я поймал их в окуляры бинокля и разглядел три «Юнкерса-87». Хрипящий звон их моторов усиливался. Они стали разворачиваться влево, выходя на боевой курс.

— Берут в работу, — обронил мне Степан Акимович, снижая голос. — Ну что я могу с ними поделать? Все равно, что в слона манной крупой кидать.

Головной «Юнкерс» вырвался вперед и, опустив нос, ринулся в пики. Над моим ухом застучал пулемет с мостика. Одна... две... три очереди. Бомбардировщик стремглав падал на беззащитный

транспорт. Сверкнули, отделяясь от него, две искры. Он взмыл кверху. И тотчас же бомбы с глухим воем взрыли море по курсу «Героя», метрах в двухстах впереди. Высокие фонтаны грязно-серой воды поднялись там и медленно рассыпались под гул взрывов.

— Ошибка! — крикнул над моим ухом бодрый голос. — Пятнадцать — ноль в нашу пользу...

Я обернулся. Степан Акимович, прищурясь, блестящими глазами следил за уносящимся самолетом. В его лице уже не было тревоги, он был захвачен азартом риска. Снова застучал пулемет. Второй «Юнкерс» обрушился на «Героя». Мостик сильно трянуло. Я едва удержался на ногах. Заныли осколки. Один с треском проломил фанерную стену рубки. Мимо борта «Героя» проплыли назад два пенистых круглых пятна на воде — следы падений. Пулемет безостановочно бил по немцу.

— Мажут! — радостно завопил Степан Акимович. — Ей-богу, мажут!.. Прекратить огонь! Не трать патроны! Пригодятся для третьего.

Третий немец прошел над нами, разглядывая и принюхиваясь, не сбросив бомб. Уйдя далеко вперед, он лег на обратный курс, навстречу «Герою».

На мостик взбежал взволнованный краснофлотец.

— Товарищ старший лейтенант! Которые женщины в каютах очень волнуются. Кричат, чтоб на палубу выпустить.

— Не выпускать! — отрезал Степан Акимович, следя за приближающимся самолетом.

«Юнкерс» повис над нами и упал стрелой. Треск пулемета захлебнулся в оглушительном раскате. Вода стала перед глазами мутной зеленовато-белой стеной и обвалилась на мостик, будто разом опрокинули сотню сорокаведерных бочек. Все затрепало и зашаталось. Меня ослепило ударом воды.

Когда я протер глаза, все вокруг было мокро. Вода с шипеньем лилась по мостику. Степан Акимович ловил уносимую ею фуражку. Внизу кричали. Зазвонил машинный телеграф. Степан Акимович вырвал пробку из переговорной трубы. Мясное лицо его посерело. Он выпрямился.

— Днище кочегарки вырвало. Ясно! Сплошная ржавчина! Заливает машинное, скоро какюк, — тихо объяснил он мне и немедленно побежал к обвесу, на ходу вытаскивая из кобуры наган.

— Прекратить крик! Смирно! Кто пошевелится без разрешения, — стукну, — и в подтверждение угрозы Барсуков постучал дулом нагана по поручням.

На палубе стихло. Степан Акимович повернулся к старшине.

— Выводить женщин, сажать в шлюпки. Отвечаешь за порядок. Потом шлюпки на воду.

Я подошел к заднему обвесу мостика. Палуба чуть заметно стала крениться налево. Возле узкой двери в надстройку полуюта стали два краснофлотца с винтовками. Женщины выходили из дверей поодиночке, — тихие, с расширенными глазами, судорожно прижимая к груди детей. Стоя против дверей, старшина движением руки отправлял выходящих направо и налево: Краснофлотцы помогали им карабкаться на планшир и оттуда в шлюпки. Посадка шла быстро, без суетни и шума. Заскрипели блоки талей. Две старых шлюпки «Героя» медленно опускались на воду. Транспорт заметно оседал.

— Товарищ старший лейтенант, — закричал старшина, — шлюпки на воде!

— Отваливать! — приказал Степан Акимович и пошел к переднему обвесу. Я последовал за ним. На палубе под мостиком в угрюмом молчании стояли мужчины. Их было много. Командиры, красно-

флотцы, штатские. Они инстинктивно сжались к центру корабля и пристально смотрели на тихую воду.

— Кто не умеет плавать — подымите руки, — негромко сказал Барсуков.

В ответ поднялось до полусотни рук. Степан Акимович покачал головой.

— Что ж вы, товарищи? Какие ж вы моряки, если плавать не можете?.. Ну, ладно, теперь поздно разговаривать.

Люди снизу молча смотрели на командира. Барсуков хлопнул ладошками.

— Неумеющим плавать подойти к левому борту, построиться в шеренгу. Остальным стоять на местах. Сейчас будут розданы пояса и круги.

Часть людей торопливо вытянулась цепочкой вдоль борта. Краснофлотцы раздавали пояса и круги.

— Трои́м нехватает, товарищ старший лейтенант.

Степан Акимович кинулся в рубку и, вытащив оттуда три буйка, сбросил их на палубу.

— Слушать меня!

Он взобрался на поручни и стоял, придерживаясь за штаг. По щекам его текли крупные капли пота, хотя вечер был прохладный и сырой. Губы Барсукова сложились в бодрую усмешку, которая явно была искусственной.

— Ну, товарищи! Смотрите веселей. Ничего особенного не случилось. Непредвиденное соревнование по плаванью на большую дистанцию. Последний осенний заплыв плавающего и берегового состава. Начинают новички... Прыгать в воду по моей команде! Плыть к острову, — и Степан Акимович указал на сереющее на горизонте плоское пятно. — Первая шеренга на борт!

Планшир сброс людьми. Они балансировали на нем, стараясь удержать равновесие, цепляясь за

ванты и друг за друга. Степан Акимович поднял наган.

— Приготовиться! Раз!.. Два!.. Три!..

Ударил выстрел. Вода за бортом зашумела и заплескалась. В ней зачернели фуражки пловущих.

— Плыть ровнее! Не спешить! Держать ровное дыхание! Руками попусту не болтать! — командовал Барсуков. Он был очень возбужден и, как мне показалось, радостно возбужден. Он неожиданно почувствовал себя прежним Барсуковым, неистовым болельщиком. Вероятно, в эту минуту он даже забыл, что гибнет корабль.

— Отплывать дальше! Не вертеться под бортом! Освобождайте место... Остальным построиться в ряды по пятидесяти, — кричал Степан Акимович.

Беспорядочная толпа на палубе зашевелилась, разделилась на отчетливые ряды.

— Первый ряд на борт! — скомандовал Барсуков.

Он оглянулся и, как будто впервые, заметил меня.

— Идите на палубу, становитесь в ряд!

— Да я с вами останусь, Степан Акимович, — попробовал возразить я, но Барсуков гневно сверкнул глазками.

— Исполнять приказание! Прошу вниз! — и он властным движением указал на трап.

Я подчинился. Ряд за рядом население «Героя» покидало транспорт, повинувшись команде Барсукова. Я сбросил ботинки и китель, чтобы было легче плыть, и очутился в воде с последней партией. Вынырнув, я удивился, как низко сидит в воде «Герой». Только полоска фальшборта возвышалась над морем. Я взглянул на мостик. Там одиноко стоял Степан Акимович, и я услышал его напутственные слова.

— Не сбиваться в кучу! Друг друга перетопи-

те! Расплывайтесь пошире! Не надрыватьсья! Время не играет роли...

Положительно казалось, что он наслаждается ролью организатора и судьи этого необычайного заплыва.

Я приподнялся над водой, помахал рукой и закричал:

— Степан Акимович! Заплывайте в голову! Ведите команду!

Он услышал мой оклик и, сняв фуражку, торжественно приподнял ее над головой. Набежала волна, хлестнув мне в рот и ноздри. Когда я отплевался и взглянул на «Героя», его мачты быстро валились набок. Еще мгновение, и вода с гулом сомкнулась над ним.

Спустя три часа я выполз на серебристый песок островного пляжа. Краснофлотцы береговой батареи радушно принимали неожиданных гостей. Обе шлюпки, давно высадив женщин, подбирали теперь отсталых и теряющих силы. До утра мы просидели на берегу, поджидая последних пловцов. Утром произвели подсчет. Не досчитались шестерых.

Впрочем, не шестерых, а семерых. Седьмым был Степан Акимович Барсуков.

Июнь 1942 г.

ВСТРЕЧА

Перед самой войной командир наш, капитан-лейтенант Солодушенко, заметно переменился. Был он весельчак, живчик, радостной жизни человек. По службе, как и по дружбе, — всегда жил с шуточкой, с веселым подходцем, и улыбка у него была такая белозубая и заразительная, что сам до ушей рот растянешь и на весь день развеселишься.

И вдруг, как обрезало. Совсем другой человек на корабле появился. И походка даже не та стала. Бывало, на мостик в три прыжка взлетал. А тут стал ходить сгорбившись, и ноги волочит, как чахоточный. Губы в тонкую ниточку собраны, и даже, когда говорит, и то их не разлепит, будто слова меж зубов продавливает. Глаза потускнели. Словом, всякому заметно, что не тем курсом пошел человек.

Раньше в кают-компании у нас постоянно за столом смех бурлил, и сам командир был веселью заводчиком. Как отпустит слово — все покатаются. А теперь звука не проронит. Уставится в тарелку и сидит, глаз не подымая, только вилок скартерть скребет. Конечно, и мы молчим. Раз командиру неохота разговаривать, — всем не по себе. Так и стали жить бессловесно, как крабы под камнями.

Никак не могли мы понять, что с командиром нашим стряслось. Моряк лучшего качества, у начальства на виду. Эсминец — какого во сне пожелать можно: новенький, скороход. Приз переходящий за артиллерийские стрельбы третий год держим, вцепились зубами — не вырвешь. Отчего бы в уныние впасть?

А узнали мы причину от комиссара. Командир с комиссаром у нас душевно дружили. И на правах дружбы забеспокоился комиссар, что такое с капитан-лейтенантом творится. При таких обстоятельствах и службе вред может быть. Как-то зашел комиссар после ужина к командиру в каюту и повел разговор начистоту. Битую ночь проговорили.

Оказывается, вышло все это с командиром от семейного неурядиства. Надо сказать, что года за два до этого Солодушенко женился. Вышел себе жену всем на зависть. Рослая, тонкая, в лице розовый налив, глаза синие, волосы пшеницей колосятся. А по специальности актриса. Из Театра

юных зрителей — была там на лучшем положении. Очень собой хороша: взглянешь — и глаз не оторвать.

Я так думаю, что моряку вообще не след жениться на выдающихся экземплярах. Служба наша не домашняя, — уйдешь в море, дельфин не догонит. Когда вернешься — неизвестно. А как только ты в море, — вокруг дома начинают разные личности маневрировать короткими галсами. Молодой женщине все время одной дома сидеть невесело — это ясно. Хочется с живым человеком словом перекинуться. И начинается неустройство. Чаще всего и серьезного ничего не случается. Цветы, конфеты, разговоры, ну, руку там иногда на лету чмокнут, а добрые языки вмиг трезвон разведут покрепче колоколов громкого боя. Вернется человек с моря, и от этого звона сразу сердце у него надухает.

Поэтому лучше нашему брату выбирать себе жену потише да поскромнее. Лишь бы душа была ясная, а что до оперенья, то удобнее серенькое, вроде цесарки, чтоб в глаза не кидалась. Но это, может, я и ошибочно думаю.

Вот и у нашего командира на такой базе семейный разлад вышел. Пришел из плаванья, наслушался вранья в оба уха и сказал жене неосторожное слово. А у нее своя гордость была — разъярилась, обиделась. Слово за слово, Солодушенко и обмолвился, что если брачный корабль из строя вышел, то лучше сдать его к порту и кончить кампанию. Хлопнул дверью и снова ушел в плаванье на месяц.

Плавал и скучал, все о жене думал, а как вернулся домой, — нашел вместо нее одну записочку: «Жизнь не вышла. Горько, но что же делать. Уезжаю, не ищи меня, прощай. Женя».

От такого оборота он и развинулся. Любил ее

крепко и сам жалел, что этот разговор тогда у них вышел. Бросился в театр. А там ответили, что актриса Платова, с разрешения главного театрального начальства, уволилась с работы по собственному желанию и уехала в провинцию, а куда — не сказала. Кончилось счастье из-за ничего. Много такой чепухи в жизни бывает. И как ни старался капитан-лейтенант разыскать свою Женю, — не мог и следа обнаружить.

Все это рассказал нам комиссар, и очень мы жалели нашего командира. Но долго заниматься этой оказией не пришлось. Война все такие домашние дела под корешок срезала. Как началась война, командир подобрался, взял себя в руки, но угрюмости не потерял. Ходит по мостику с крыла на крыло. сумрачный и все куда-то за горизонт глядит.

В середине августа встретились мы у Ирбенского пролива с двумя немецкими эсминцами. Встреча вышла короткая, но крепко поперченная. Напоролась она на нас незадолго до рассвета, выскочив из тумана. Одного немца мы на девятой минуте боя послали обследовать, какой грунт на дне имеется, другой, хоть и захромал, однако успел нырнуть обратно в туман. А на прощанье врезал нам снаряд в мачту над мостиком. Громыкнуло над головой, брызнуло осколками по палубе. И сбило двоих сигнальщиков, меня и командира.

Сигнальщиков поцарапало чуть-чуть, мне левый локоть разворотило, а командира повредило основательно. Разбило бедро, брюшину порвало, и несколько осколочков даже в кишки вогнало. Упал он, зубы стиснул, но ни разу не простонал. Только прошептал что-то раза два, и хоть на мостике шумно было, но показалось мне в его шопоте ясное слово: «Женя». Видно, о ней он подумал.

По приходе в базу отвезли меня и командира в

госпиталь. Положили в одной палате. Пришли врачи, поглядели в листки, меня направили в перевязочную — новую повязку наложить, а Солодушенко тут же стащили в операционную. Лежал он без сознания и белый весь, как мукой обсыпанный. Врач мне сказал, что командирское дело плохо. По правилам, конечно, операцию полагается сделать, но только она бесполезна, и командир наш не выживет. Однако все же принесли его с операции обратно в палату, положили на койку. И оставался он совсем недвижимый, чуть заметно было, что дышит еще. Глаза закрытые, нос торчит острый, как свайка. Два дня так пролежал — ни живой, ни мертвый. Только все время сестры ему пузырь со льдом на животе сменяли да пульс прощупывали. На третий день открыл он глаза и с этой минуты стал поправляться. Профессор наш, — главный врач, — только плечами пожимал. Сам не верил в такую удачу медицины.

А в недолгом времени просто поверить нельзя было, что умирал наш капитан-лейтенант. Почти в прежний вид пришел, в лице краска появилась, глаза ожили. Но все же лежал он молча и по-прежнему куда-то очень далеко смотрел. И все край одеяла пальцами перебирал.

В конце недели приходит утром профессор на обход. Посмотрел Солодушенко, прослушал, прощупал и в усы усмехнулся.

— Ну, — говорит, — позвольте мне, старику, вас сердечно поздравить, товарищ капитан-лейтенант. Разом и себя и вас поздравляю. Вернулись вы почти с того света и теперь жить наверняка будете долго. Прямо говорю — вопреки всем объективным показаниям вы выжили. Или счастье ваше такое верное, или очень уж здоровая и жизнедеятельная кровь у вашего донора оказалась. Так что скажите ему спасибо.

Тут Солодушенко впервые чуть улыбнулся, так, одним уголком губы дрогнул, и отвечает:

— Охотно поблагодарил бы, профессор, да ведь не знаю кого.

— Это дело простое. — Профессор поворачивается к старшей сестре и приказывает: — Пройдите ко мне в кабинет, откройте бювар на столе. Там сверху лежит этикетка, которую я от банки с кровью отклеил. Тащите ее сюда.

Через минуту сестра возвращается и подает профессору этикетку. Он ее протягивает капитан-лейтенанту.

— Вот вам, — говорит, — и имя вашего ангела-хранителя и адрес. Все тут.

Капитан-лейтенант берет этикетку двумя пальцами, подносит к глазам и вдруг, как от судороги, дернулся, напрягся весь и потом опал на подушку. И снова побледнел, даже с просинью. Веки опустились, и стал он, как мертвый.

Профессор увидел и закричал не своим голосом: — Шприц с камфарой! Моментально!

Началась суматоха. Врачи вокруг койки топчутся. И вижу я — этикетка эта, которую профессор капитан-лейтенанту дал, выпав у него из руки, валяется у койки на палубе, под ногами. «Дай, — думаю, — подберу, а то затопчут в горячке».

Нагнулся и поднял, чтобы на тумбочку положить. Но по пути, ради любопытства, читаю, что там написано. И вижу: «Группа крови вторая... Донор Платова, Евгения Михайловна...» Да ведь так жену командира звали! Ту самую, что он так искал!.. Его Женечку!

Сижу я обалделый, на бумажку уставился, не мигая, как сыч на солнце, и думаю: «Ну и история! Ну и происшествие!.. Ведь нарочно такого не придумашь».

А тем временем капитан-лейтенанту камфару впрыснули, профессор руку ему держит, пульс отсчитывает и сам себя спрашивает:

— Что же это такое? Понять не могу, почему такой внезапный сердечный припадок?

Тогда я показываю ему бумажку.

— Разрешите доложить, товарищ дивврач!

И рассказываю все, что мне известно. Профессор, врачи, сестры, другие раненые слушают, рты раскрыв.

Часа через полтора капитан-лейтенант совсем оправился. Мы старались, чтобы ему беспокойно не было. Кроме него, нас в палате пятеро находилось. Все ходячие. Так мы между собой шопотом разговаривали, а то и вовсе старались уйти в курилку. Все-таки в палате тише и воздуху больше. А он лежал тихо и все улыбался. Да иногда возьмет бумажку с тумбочки, посмотрит на нее и рукой погладит, точно живую. Так и заснул в эту ночь с улыбкой.

А спустя дней десять, только что мы с обеда в палату вернулись, как появляется на пороге высокая женщина в белом халате. Глаза синие, волосы пшеничным снопом. Быстро так оглядела всю палату, нас всех, увидела капитан-лейтенанта, рванулась и, как ветер бесшумный, пронеслась к его койке. Упала на колени — и головой ему на грудь. Видно, как дрожит вся. А он взял эту голову в свои ладони, притянул к себе и молчит. Только шумно так дышит.

Тут у меня в горле запершило — видно, перекурил. Кашель стал душить. Неловко мне было, что могу их обеспокоить. Встал я с койки и потихоньку побрел в курилку.

Сентябрь 1941 г.

ПОРТРЕТ

В полк наш Виктор Андреевич Лыкошин пришел из дивизии народного ополчения. Дивизию расформировали, а бойцов направили на пополнение других подразделений. Так и появился Лыкошин у нас во взводе. И когда мы его увидели, то удивились и даже, правду сказать, огорчились малость.

Были мы все молодежь, кадровики и призванные из запаса, и не было у нас никого, кому переваляло бы за четверть века. Жили дружной беспечной семьей флотских «годков», замешанной на морской соли. Жили весело и даже в бой ходили, скаля зубы. А уж после боя всегда жизни радовались. Были среди нас остряки, рассказчики всяких историй, музыканты. — Моня Гиршман, одессит, на гитаре так играл, что обозные кони и те заслушивались. Были певцы, были и так, — просто хорошие ребята.

И вот приходит во взвод товарищ лет под пятьдесят, сухонький, бородка этаким серебристым клинушком. Как сейчас помню: когда он вошел, — лицо в поту, в пыли, в глазах усталость. Походочка — мелкий шаг, и видно, что иным он уже и ходить не может. И винтовка ему будто не по плечу, — всего его набок перетянула. Переглянулись мы, и у всех одна мысль прошла: «Это что ж такое выходит? Такого, пожалуй, на рубеж на руках носить придется!»

А он винтовку поставил, нам всем поклонился так важно, по-старинному, и сказал с тихой вежливостью:

— Ну вот, товарищи, я к вам во взвод назначен. Очень рад познакомиться, надеюсь, что будем жить в добре и согласии.

Мы смолчали, а Васька Баланин тут этому по-

венькому и нахамил. Язык у Васьки был поострее шипа и удержу не знал. Вот он, значит, и спрашивает:

— А позвольте узнать, папаша, вы с собой в вещевой мешочек винтиков из дому не прихватили?

Виктор Андреевич насмешки не заметил. Думал, по-серьезному его спрашивают. На фронте винтики, известно, — имущество дефицитное, а мало зачем парню они понадобятся могут. Может, имущество какое военное починить надо. И ответил Ваське вполне серьезно:

— Нет, к сожалению, ничего такого у меня нет. Иголка с ниткой. пуговицы — это найдется. А насчет винтиков плохо.

Васька не унялся. Зубы оскалил и продолжает:

— Жаль, жаль, папаша... Как же вы такой незапасливый? В случае, ежели развалитесь, чем мы вас свинчивать будем?

Мы так покато и легли. Но только Виктор Андреевич посмотрел на Баланина как бы печально немножко и ответил так же тихо:

— Все мы, мой молодой друг, не без недостатков. Я вот винтики дома забыл, а вы, видать, замочек от своего языка потеряли. Так что нечего друг друга корить.

И так он это сказал, что нам всем вдруг стыдно стало, и сам Васька морковного цвета сделался и сразу сдался.

— Простите, — сказал, — товарищ, не знаю вашего прозвища, я так, — без обиды. В шутку. Характер у меня шутейный.

Виктор Андреевич улыбнулся мягко, как отец, когда ребята сшалают:

— Да и я тоже без обиды. Зачем нам обиды чинить, когда вместе жить и воевать придется.

И с того часа очень он нам по душе пришелся. Доброты был необыкновенной и к людям внимательный. Слабость у него только с виду была. Оказался на редкость выносливый и ни в чем от нас не отставал. А особенно мы его полюбили за талант. Художник он был. Носил при себе два альбомчика и коробку с цветными карандашами. И все в свободные часы рисовал. Нас всех перерисовал — и так похоже: смотришь — и как будто с бумаги ты сам живой вылепливаешься. Окружность тоже всю зарисовывал. Однажды немца убитого нарисовал. Лежал тот немец в канаве у дороги. Грязный, паршивый весь, руки вытянул, в землю пальцами врылся, глаза открытые, и даже после смерти волчья сыть в них дымится. Посмотрели мы на тот рисунок и ахнули. Прямо отпечатал Виктор Андреевич на нем немецкую гнилую душу, что пришла в нашу землю резать, мучить и грабить. Даже сердце нам стиснуло от того рисунка.

И в бою оказался Виктор Андреевич отличным бойцом. Спокойный, не суетится никогда. Стреляет с толком, метко. К местности хорошо приспособивался. И имел редкое качество — ночью по звуку стрелял. Бывало, услышит на немецкой стороне шорох и движение, приладится к винтовке, послушает, — хлоп! И почти всякий раз после этого у немцев крик и пальба подымались. Здорово умел попадать.

Вскоре прижился он к нам совсем, как свой, одновозрастный. Пошутить был непрочь с нами, когда можно, и нашу шутку понимал. Только не уважал, когда мутные слова говорили. От ругани сумный становился и смотрел так, что у ругателя на душе колюче делалось.

Как-то вечером — было это за две недели до трудных боев, и стояли мы в то время на отдыхе —

собрались мы в землянке за чайком. Снаружи погода осенняя, дождь нахлестывает косыми нитями, а у нас тепло, сухо. Стали дом вспоминать, девушек своих. И вышло так, что заговорили про любовь вообще. Ну, народ молодой, пошли шутки кой-какие вольные. А Виктор Андреевич у печки сидел, щепочки подкладывал. Обернулся к нам и сказал хмуро, с наказом:

— Негоже, ребятки, так про любовь говорить. Больше любви ничего нет у человека, и любовь уважать надо, как мать родную уважаешь, как родину. Потому что в ней, в любви, все для тебя — и родина твоя, и поля, и дом, и вся жизнь, что за тобой стоит, и дети твои. И за любовь, как за родину, и умереть должно гордо.

Пулеметчик Сережа Никольский, тот самый, что шутовал, сказал:

— Вы, Виктор Андреевич, не сердитесь. Это от озорства. Кровь у меня молодая, ласки мне хочется, вот и шуткую. Вам это, конечно, трудно понять, вы уж свое время отгуляли.

Виктор Андреевич встал, стряхнул с рук щепу и покачал головой:

— Молодой ты, Сережа, а дурной. Нет для любви времени. Бессмертная она, если настоящая только.

Тут я его и спросил:

— Позвольте узнать, Виктор Андреевич, думается мне, что счастливая любовь у вас была, если вы о ней так говорите.

Он мне сразу ничего не ответил, лишь улыбнулся светло. Расстегнул свою гимнастерку, вытащил кожаный бумажник старенький, раскрыл и вынул из него пластинку какую-то. Протянул мне и говорит:

— Вот, взгляни, Миша!

Я поднес к огоньку поближе. Гляжу — пластинка эмалевая, и на эмали портрет. Трудно мне об этом рассказать, но только, как ударило мне в сердце чем-то горячим. Увидел я это лицо и никогда его не забуду. Девушка, тоненькая. Коса вокруг головы заплетена венком, шейка нежная. Пелеринка на ней белая, как в старину ученицы носили. И такой чистоты лицо это и такой свет в глазах девичьих, какого никогда, ни у кого видеть не пришлось. Держу в руках портрет этот и чувую, как сзади меня все ребята столпились, через плечо заглядывают. И даже дыхания не слышать. Так все притихли, так, видно, всех проняло лицо ее, чистота ее ясная.

Моня Гиришман даже голосом дрогнул, когда промолвил:

— Это же ангел, Виктор Андреевич! Ангелов так рисовали когда-то.

Виктор Андреевич взял у меня карточку, бережно в бумажник вложил и спрятал. И показалось мне, что в землянке даже темней стало, как лицо это скрылось от наших глаз. А Виктор Андреевич, погрузнев, ответил Моне:

— Нет, Моня! Ангелы хуже!.. А это очень хорошая женщина. Жена это моя.

Помолчали мы, и кто-то тихонько вздохнул:

— Да-а!

Моня спросил:

— Небось, тоскует она по вас, Виктор Андреевич?

Он не сразу ответ дал. Вздохнул тоже.

— Не может она тосковать, Моня. Двадцать три года уже, как ее нет. В восемнадцатом году в Кременчуге немец ее убил.

Замерли мы. И у всех одна мысль: как, кто мог красоту такую, чистоту-такую жизни лишить? Моня за всех сказал:

— Что вы?.. Быть не может!

— Очень даже может. И было, — ответил Виктор Андреевич.

И по просьбе нашей рассказал нам все. Жил он тогда в Кременчуге. Учителем рисования в женской гимназии. Молодой, только художественную академию окончил. Встретил эту самую свою Лизу среди учениц. И стала между ними любовь. Как Виктор Андреевич про эту любовь говорил, мне не передать. Слышать нужно было.словно звенел и светился весь, рассказывая. Душой говорил. Ну, вот, когда Лиза учение окончила, — поженились они. Трудно это для них было. В те времена иначе женились. Папаша с мамашей у Лизы из важных были. Дочь за художника выдать, — у них, дураков, за стыд считалось. Однако все это Виктор Андреевич со своей Лизой преодолели, и было у них полное счастье, как сплошная весна. Но в тот год навалились немцы на Украину. Как раз случилось, что у Виктора Андреевича и Лизы в ту пору дочка их годовалая захворала. Дело было к вечеру. После восьми часов немцы запрещали на улицу выходить. А дочке лекарство нужно сейчас, мечется в жару. Хотел Виктор Андреевич в аптеку бежать, а Лиза его не пустила. «Не ходи, мол, — ты мужчина, к тебе обязательно прицепятся, я сама побегу. Женщину не тронут». Не хотел он с ней согласиться, да она уговорила. Аптека близко была, через улицу. Долго ли перебежать, да обратно! Все-таки вышел он с ней на крылечко. Она бегом пустилась, а он стоит ждет. Уже темно, а против крылечка как раз фонарь уличный горит, освещает. Видит он, что уже вбежала Лиза в аптеку и ждет, что сейчас обратно прибежит. Вдруг из-за угла немецкий солдат выходит и, как аист, похаживает, винтовку под локтем держит. Вот стукнула в аптеке дверь, Лиза

выскочила и назад спешит. И только вбежала под фонарь, где свет кругом лежал, как немец вскинул винтовку и... бах! Еще она шага три пробежала с разгону и упала Виктору Андреевичу на руки. Ни одного слова не сказала. Вздохнула раз-другой и замерла.

Рассказывал нам это Виктор Андреевич, и голос у него рвался, как дурная нитка, и понимали мы, как ему тяжело вспоминать. И нам всем так душно стало, что дышать нечем. А он говорит:

— Вот тогда я, друзья, понял, что такое немцы. Понял и на всю жизнь ненавистью проникся. И хоть годы мои сейчас немолодые, но при первом выстреле взял я оружие и пошел бить их смертным боем. Не люди это! Подобие людей, обученное на мерзость, на убийство, на пагубу. Нет у них души — запах псиный вместо души. И бить их надо без всякой пощады. Только тогда на земле жизнь настанет... Бейте их, друзья! За землю нашу, за вашу любовь, за девичью чистоту, за детей ваших, за все бейте их до конца, как я буду их бить, пока дыхания у меня хватит. Нет им прощенья!

Сел он у печурки и лицо руками закрыл. И ничего мы ему не говорили, потому что понимали — словами здесь не поможешь. И стояло перед нами лицо Лизы, каким мы его увидели на портрете, и за ним, за лицом этим, стояла вся наша родина, — все, что мы любили и берегли, что дороже нам своей жизни было. И поняли мы в тот вечер, что такое любовь.

Спустя две недели были мы уже в бою. Туго пришлось нашему взводу. Приказано было отойти немного, на новый рубеж. И нужно было оставить кого-нибудь прикрывать наш отход. Вызвался сам Виктор Андреевич и сказал взводному:

— Моя это честь, и никому я ее не уступаю. Я старший здесь летами, и я остаюсь.

И остался он в окопчике с ручным пулеметом. Когда уползали мы, оглянулся я на Виктора Андреевича. И увидел, как вынул он из бумажника лизин портрет и поставил перед собой на откос бруствера. И пристально поглядел на него.

А потом услышал я, как застучала его очередь по немцам.

Отошли мы благополучно. И все время слышали за собой, как работал пулемет Виктора Андреевича. Дисков мы ему много оставили, и, видно, хорошо крыл он и не давал немцам головы поднять. Но вскоре смолк пулемет. И немцы поднялись на нас в атаку. Только тут к нам резервы подвели, и встретили мы немцев в штыки. Верно, никогда так взвод наш не дрался, как в этой атаке. Наложили мы их на всем поле пластами. Взяли обратно нашу позицию и еще дальше немцев погнали. После атаки вернулись и первым делом к Виктору Андреевичу кинулись. Лежал он в окопчике, свернулся комком, голова пробита насквозь, бледный, но лицо спокойное и словно радостное.

А портрет Лизы так и остался на откосе нетронутый. Только кровью его забрызгало.

Похоронили мы Виктора Андреевича под плакучей березкой. Портрет Лизы сперва хотели себе оставить. Жаль было такую красоту в землю зарывать. Но Моня Гиршман сказал, что нельзя оставлять, что портрет этот только Виктору Андреевичу принадлежит, что за нее он жизнь отдал и с ней должен остаться. Вложили мы портрет в его мертвые пальцы и засыпали ему глаза сырой русской землей.

И пошли снова в бой. Только дали общую нашу, на век нерушимую клятву — драться героями, драться, не щадя себя, драться без страха, не уступать врагу ни шага, не давать пощады ни од-

ному гитлеровскому рылу, класть их всех снопами за Виктора Андреевича, за Лизу, за любовь, — за всю нашу милую, святую, нас породившую русскую землю.

Июль 1942 г.

ДЕТАЛЬ

Полковник сидел на табурете, положив на некрашенные сосновые доски стола большие красивые руки и слушал комиссара дивизии, машинально выбивая концами пальцев по столу барабанную дробь.

Руки полковника притягивали к себе взгляды и комиссара, и молодого загорелого жизнерадостного лейтенанта артиллериста, вызванного в штаб из артдивизиона. Они были очень красивы — эти сильные, мужественные руки с мускулистыми длинными пальцами. Чувствовалось, что они умеют цепко осязать фактуру вещей и ласкать их с почти детской мягкостью, и в то же время способны, в приступе злости, ломать и крушить любой, самый неподатливый материал.

Лейтенант почти откровенно любовался выразительностью и силой этих рук. Комиссар смотрел на них со спокойным и пристальным вниманием молодого человека, приученного жизненным опытом не выказывать слишком открыто своих ощущений. Но, видимо, и комиссару нравились эти, по-мужски прекрасные, руки. Полковник прибыл в штаб дивизии час тому назад. Но еще в ночь дежурный по связи принял радиogramму из штаба армии, которая сообщала, что в дивизию выезжает крупный артиллерийский конструктор, полковник Любимов, для наблюдения в боевых условиях нового средства артиллерийской техники, только что пущенного в производство. Первые образцы проходили стадию

испытаний в приданном дивизии особом артдивизионе.

Полковник появился минута в минуту указанного в телефонограмме времени. Командиру дивизии в это время понадобилось выехать на передний край, и приезжего принимал комиссар. Полковник был не знаком комиссару, комиссар видел его впервые, но едва гость успел вылезть из проворной фронтовой эмки, как приятно удивил комиссара, передав ему привет от давнишнего приятеля из времен гражданской войны, — теперь директора завода боеприпасов на востоке. Это неожиданное обстоятельство сразу устранило обычную неловкость первых мгновений встречи незнакомых людей, даже принадлежащих к одному кругу и одной профессии. Комиссар вспомнил друга, с которым не виделся добрых десять лет, и для разговора сразу нашелся тот простой и верный тон, который так трудно установить, когда между разговаривающими нет никакой связи.

Полковник Любимов предъявил комиссару предписание Главного артиллерийского управления, определяющее его задачи, и сказал, что хочет как можно скорее закончить свою работу и возвратиться в Управление, где у него много неотложного дела, от которого он не может надолго отрываться.

— Ну что ж, отлично, товарищ полковник, — сказал комиссар, придвигая к себе папку с бумагами, принесенными для подписи, — мы постараемся оказать вам всяческую помощь. Вот товарищ лейтенант сейчас проедет с вами в расположение дивизиона. Познакомьтесь с командиром дивизиона и можете любоваться вашей штучкой, сколько вам заблагорассудится.

Полковник встал и ловко оправил пояс на гимнастерке.

— Кстати, товарищ полковой комиссар, меня ин-

тересует и ваше мнение, — сказал он, — вы ведь уже имели возможность наблюдать эту «штучку» в действии довольно продолжительное время. Как по-вашему, — представляет ли она уже и в этой стадии серьезное новое оружие или нуждается еще в дальнейших доделках и изменении конструкции?

Комиссар тоже поднялся.

— По-моему — не плохая игрушка, — произнес он шутливо, — мы, по чести говоря, ею довольны, а фрицы очень сердятся. А это, собственно, и требуется доказать. Но нужно ли к ней еще что-нибудь добавлять или переиначивать, — это уж вы сами смекните. Вы артиллерист — вам виднее. Ночевать возвращайтесь к нам, я вам приготовлю местечко поуютнее.

Комиссар протянул полковнику руку, и крепкая красивая кисть полковника охватила эту руку сильным захватом. Высвободив свою кисть, комиссар пестрял ею в воздухе.

— Ну-ну! — сказал он. — Часом, вы подковы не гнете руками?

— Простите, — полковник смутился, — я когда-то в молодости на канатной фабрике работал, а это очень развивает силу в пальцах... Касательно возвращения к вам, — я, пожалуй, предпочел бы остаться в дивизионе. Все-таки мне там придется пробыть дня три, и не будет ли утомительно каждый день ездить туда и обратно? Кончил бы дело — и прямо оттуда к себе... А за уютом я не гонюсь. Хоть и приелась пословица «на войне, как на войне», но другой пока не выдумали.

— Нет уж, товарищ полковник, — засмеялся комиссар, — не нарушайте наших правил, чтобы не пришлось напоминать вам другую поговорку про «чужой монастырь». Вам нужно познакомиться с генерал-майором. Он будет обижен, если вы с ним не повстречаетесь. И, наконец, я с вами обязатель-

но передам письмо Петрухе. Давненько мы с ним не видались, так хоть напишу. А вы ему обязательно скажите, что я его помню и хочу видеть... Товарищ лейтенант! Поручаю вам лично обеспечить товарищу полковнику возвращение к ночи сюда. Ясно?

— Ясно, товарищ полковой комиссар, — лейтенант стукнул каблуками.

Дверь за полковником закрылась. Комиссар вынул из грудного кармана автоматическое перо и стал проглядывать бумаги. Подписал одну, другую... На третьей задержался. Рука с пером повисла в воздухе. Брови комиссара сдвинулись, на лице появилось выражение напряженной думы. Он отодвинул бумагу, встал из-за стола и посмотрел в окно. За окном лежала темнолиловая, влажная и дымящаяся от весеннего солнца земля, чуть опущенная зеленой щеточкой первых игольчатых побегов травы. На разбитой грузовиками дороге синими стеклянными осколками блестели лужи. По обочине, подобрав полы шинели и медленно переставляя облипшие грязью ноги, гуськом тянулись бойцы. Очень издалека накатывался глухой пушечный гром. Все было очень обычным и приевшимся комиссарскому глазу, но он продолжал изучать несложный прифронтной пейзаж, как будто отыскивая в этой мокрой земле, в колеях и лужах решение сложной задачи. По лицу его казалось, что он не доверяет реальности этой обыденной картины и упорно, даже с раздражением, думает о чем-то, ускользающем от его сознания. Прошло минут пять. Внезапно комиссар резко и коротко ударил стиснутым кулаком по раме так, что стекла жалобно зазвякали.

Напряженная рассеянность взгляда исчезла. Комиссар вернулся к столу, вынул из зеленой шкапки полевого телефона трубку и, услышав за

гнусавым нытьем пищика голос телефониста, приказал, прикрывая рот ладонью, словно не желая, чтобы его услышали:

— Товарищ дежурный, соедините меня с Кононенко. Только чисто, без всяких там ваших заземлений, замыканий и хрюканья.

Прижимая трубку к уху правым плечом, комиссар успел свернуть самокрутку, вставить в мундштук и закурить, прежде чем дождался соединения.

— Кононенко, зайти-ка сейчас ко мне, — сказал он, попрежнему держа ладонь у рта, и, не ожидая ответа, положил трубку.

Он продолжал подписывать бумаги, и лицо его стало опять спокойным, как всегда, и немного усталым. Вскоре в дверь постучали, и на отклик комиссара вошел худощавый человек с угловатыми, высоко поднятыми плечами и остановился у стола.

— Явился по вашему приглашению, товарищ полковой комиссар.

Комиссар закрыл папку, сильным движением отодвинул стул и несколько раз прошелся по комнате из угла в угол. Кононенко стоял неподвижно, только поворачивая голову вслед комиссару. Наконец комиссар прекратил хождение и взял Кононенко за локоть.

— Извини, что побеспокоил, но дело такое, что хочется с тобой поговорить.

Он увлек Кононенко в угол, где было меньше света, и там, продолжая сжимать его локоть, долго и тихо шептал. Кононенко слушал, склонив голову набок, и на худом лице его с двумя глубокими морщинами у углов рта, которые старили это еще молодое лицо, не шевельнулся ни один мускул.

— Так вот какая история!.. Все понятно? — спросил комиссар, и Кононенко молча кивнул в ответ. Потом оба вышли из комнаты. Наступал обеденный час.

Было уже совсем темно, когда из дивизиона вернулся полковник Любимов. На столе у комиссара желтым огнем горела десятилинейная керосиновая лампа, прикрытая сбоку листом бумаги. От нее на лоб комиссара падала теплая коричневая тень, в которой тонули глаза, и нельзя было разобрать их выражения.

— Садитесь, товарищ полковник, — радушно предложил комиссар, — как съездили? Не угодно ли закурить? — комиссар подвинул полковнику простенький портсигар карельской березы, набитый желтой табачной стружкой.

— Спасибо! Отлично прокатился. Видел «штучку» в настоящей работе, не на полигоне. Вы правы, — фрицы очень недовольны. Думаю, что если поработать еще немного над усилением убойного действия, — выйдет совсем отлично... Благодарю, — полковник отодвинул портсигар, — предпочитаю папиросы, не умею возиться со свертыванием.

Он вынул коробку папирос, раскрыл ее, взял папиросу, и, пока он подносил к ней спичку, комиссар снова внимательно смотрел на его красивую кисть. Потом задумчиво сказал:

— Я доложил генерал-майору о вашем приезде. Он будет рад увидеть вас, но просил зайти к нему завтра утром. Сегодня он очень устал, и, кроме того, сейчас у него начальник штаба с экстренным докладом. Да и вы, вероятно, устали. Отдыхайте на здоровье. Сейчас вам покажут вашу комнату... Товарищ Кононенко! — позвал комиссар, повысив голос, и в комнату вошел Кононенко и стал у порога.

Полковник Любимов положил докуренную папиросу в пепельницу на комиссарском столе.

— В самом деле не плохо выспаться, — сказал он, зевнув, — я так засиделся в управленческих дебрях, что даже опьянел от чистого воздуха. Спасибо за прием и — до завтра.

— Спокойной ночи! — ответил комиссар, не подымая головы от бумаг. И, когда полковник уже поднялся и шагнул к двери, комиссар небрежно спросил, как бы случайно вспомнив:

— Да, простите, товарищ полковник... Вы ведь член партии?

— Так точно!

— Надо вам будет все-таки заглянуть к отсеку. Хоть вы к нам и на краткий срок, но у нас такое правило: отсек должен иметь на учете всех членов партии. Время боевое, на всякий случай не мешает... Впрочем, знаете что. Чем вам ходить самому, терять время, дайте на минутку ваш партбилет, я спишу данные и завтра сам ему сдам.

Полковник расстегнул гимнастерку, вынул партбилет и положил перед комиссаром. Тот записал в блокнот имя, отчество, фамилию, партийный стаж и лениво перелистал билет до последней страницы.

— Очень хорошо, товарищ полковник, — сказал он, возвращая билет, — приятно видеть аккуратного члена партии. Взносы в порядке до последнего месяца. А то у нас нередко забывают...

Комиссар взял со стола свой портсигар и медленно опустил его в карман брюк, смотря, как полковник бережно прячет партбилет и застегивает гимнастерку.

И вдруг рука комиссара рванулась кверху из кармана, и черный ствол парабеллума застыл на уровне груди полковника. Одновременно тяжелым густым голосом комиссар крикнул:

— Руки вверх, прохвост! Без шума!

Полковник не сделал ни одного движения. Только взгляд его быстро метнулся назад, туда, где у двери стоял Кононенко. Но оттуда тоже смотрело на него черное колечко пистолетного ствола. Он пожал плечами и, без испуга и изумления, лишь

заметно побледнев, поднял к потолку большие, по-мужски красивые руки.

Кононенко открыл дверь. Два красноармейца, стукнув в пол прикладами, бесшумно стали по бокам арестованного. Кононенко расстегнул и снял с полковника пояс с кобурой.

— Самоуверенный, — протянул он полунасмешливо, полуодобрительно, — даже лишнего оружия не взял.

Комиссар подошел к арестованному, открывая перочинный нож. Тот вздрогнул и попятился.

— Не бойтесь! У нас не ваши обычаи, — поморщился комиссар, — просто хочу освободить вас от лишних деталей. Нехорошо они на вас выглядят.

И он тщательно срезал угольники с рукавов и петлицы с воротника арестованного. Тот косил на комиссара глаза. Взгляд их был уже откровенно волчий. Он облизал пересохшие губы и хрипло спросил:

— Теперь уже все равно... Но на чем вы меня поймали?

Комиссар угрюмо поглядел ему в глаза.

— Стоит ли вам перед кончиной отягчать ум лишними знаниями? Все равно, не успеют пригодиться... Уберите его!

Красноармейцы вывели арестованного. Комиссар отошел к столу и начал скручивать папироску. Пальцы его немного дрожали, и папироса вышла чересчур толстая и неуклюжая. Вернулся Кононенко. Комиссар вздохнул и тяжело опустился на стул. Кононенко сказал с тихим восхищением:

— Чистая работа, товарищ полковой комиссар!.. Но мне-то вы скажете, на чем его подловили? Мне пригодится.

Комиссар откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза и заложил руки за голову.

— Понимаешь, — заговорил он медленно, — что-то мне в нем не показалось с первого взгляда. Ушел он, а я все сидел и думал. Что?.. Что?.. Что именно, чорт подери? Руки?.. Нет, что тут особенного. Что больно красивые и барственные, так это — не факт... Я у молотобойцев видал такие руки, что графы позавидуют. Значит, не в этом дело. Что же!.. И вдруг осенило... В гражданскую войну немцы в украинские города всегда с барабанным боем входили... Я еще мальчишкой тогда был, но мне этот барабанный бой на всю жизнь в голову, как гвоздями, вбило. Так вот, когда он со мной беседовал, нервы у него все же играли маленько, и он пальцами по столу этот самый бой выстукивал... Не наш, понимаешь? Но и этого мало... Только повод для подозрения... Документы в порядке, — лучше не надо. Приезд обставлен по всей форме... Решил я ему еще проверочку сделать...

— На партбилете? — быстро сказал Кононенко. Комиссар улыбнулся:

— Не скажи вперед батька в пекло... Нет! На папиресе... Он тут мне заливал, что в молодости на канатной фабрике канаты сучил. А папироски свернуть, вишь, не умеет. В фатерланде этот способ непопулярен, там больше все на готовке живут. Но и это не факт, а только подпорка для подозрения... А окончательно его выдал действительно партбилет... Вот, погляди.

Он подал Кононенко отобранный у шпиона партбилет. Тот приблизил его к лампе и тщательно проглядел страницу за страницей. Поднял на комиссара недоуменный взгляд.

— Не вижу... Все чисто.

— Эхма! — комиссар протянул руку и шутливо дернул Кононенко за белокурый чубик. — А еще государственная безопасность! Видеть мало — со-

ображать надо. Смотри — членские взносы с какого оклада плачены? С пятисот рублей. А сколько полковник у нас получает? А? Вот и зарытая собака!

— Н-да... действительно, — сказал удивленно Кононенко, — здорово!

Комиссар засмеялся:

— Вот и все... Деталь! Все они, в конце концов, на детали ловятся. Гробовая профессия у прохвостов... Нужно только эту деталь не упустить, за хвост поймать — и птичка в клетке. Вот и запомни! — заключил комиссар, ловко и тщательно скручивая новую папироску.

Июль 1942 г.

ЧАЙНАЯ РОЗА

Жора Фемелиди был балаклавский грек. А балаклавские греки не простая порода. Нигде больше не найти такого бурного и счастливого смешения кровей, как в балаклавцах. Оттого и вырастают они кипучей старого вина, шумные любители соленой шутки, сердцееды, непокорные, как древняя гемузская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры.

Как всякий балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Незрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего с треском плюются мокрыми семенами, как разозленный верблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось

все, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности.

Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных греческих глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков.

В роте он имел репутацию отличного служаки, но крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятерку бойцов для отправки в снайперскую команду батальона, лейтенант Седельников первой внес в список фамилию Фемелиди. С одной стороны, лейтенант этим избавлялся от неизбежного бурного разговора о незаслуженной обиде, с другой, — тайно надеялся, хоть на время, отдохнуть от шумливого потомка Гомера.

Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение как почетное отличие и весело сверкнул своими антрацитными шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберутся остальные, он подхватил вещевой мешок с парой трусиков, початым флаконом «Красной Москвы», бритвой и любимой мандолиной и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов, старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жоры он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчаса.

Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскаленного воздуха. Как природный крымчак Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах, и

пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами дерезы.

Чтобы скоротать ожидание, Жора вытащил из мешка мандолину, разлегся поудобнее и, с ненавистью посмотрев на пылающую синюю высь, забренчал танго «Утомленное солнце». Играл он, не смотря на зной, с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину.

— Довольно неудобное место для концерта... А играете неплохо.

Голос был грудной, высокий, и Жора удивленно вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза.

Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка бочком сидела на ее аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точечный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри теплым светом глаз, синих, как вода в бухте.

Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щелкнул каблуками и произнес с преувеличенным восторгом:

— Калимера-калispera! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение. Какая яркая индивидуальность!

Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносью. Смотря в глаза Жоре, она неожиданно резко спросила:

— Вы кто такой?

Это не понравилось Жоре. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приема он ждал иной реакции — смущения, застенчивой или лукавой улыбки. И вдруг... Да с какой, собственно, стати эта пичуга так обращается

с ним, закаленным фронтовиком? И кто она-то сама? Какая-нибудь сандружинница, в лучшем случае — радистка или зенитчица. А фасонит, как командир.

— Я вас спрашиваю, кто вы такой? — еще резче повторила девушка.

Жора весь напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив тридцать два ослепительных зуба и дерзко прищурился, он брякнул:

— Ну, вот что, милая барышня, — раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком... Тоже... чайная роза!

Он вложил в этот эпитет все яростное презрение к нахальной девчонке, которое вскипело в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно жорина дерзость прошла мимо ее слуха.

— Отлично! — сказала она совершенно спокойно. — Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук... Для первого шага делаю вам, товарищ краснофлотец, замечание за непристойное кривлянье и грубость. И, если не хотите заработать более крупное взыскание, извольте отвечать на вопрос.

Жора обомлел от неожиданного оборота событий. Только теперь он рассмотрел защитные треугольнички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился.

— Краснофлотец третьей роты Фемелиди... Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант! — с трудом выдавил он сразу пересохшим ртом.

Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос:

— Очень ценное приобретение. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободны до вызова.

И, повернув Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький широкоплечий живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил:

— Ты что, браток, с лица потерянный, будто к тебе теща напостоянно приехала с правом на жилплощадь?

Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии.

Старшина почесал веснущатый нос.

— Здорово напоролся, — сказал он с мужским сочувствием, — теперь держи уши на макухе. Она тебе приварит, эта чайная роза. Она насчет дисциплины пристрастное понятие имеет, Зато стреляет — рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот ганса просто в глаз бьет, а она в самый зрачок норовит. Сам увидишь.

Остаток дня Жора провел скучно и тревожно. Будущее представлялось невеселым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора честил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец.

— Камбала одноглазая, морской кот слепой! — ругался он втихую. — Знаков различия не мог сразу разобрать... Да кто ж его знал... Бондарчук!.. Бондарчук!.. Такая фамилия — не разберешь, какого пола! И думать не мог... Эх, вяпался, Жорка, — держись!

Он заснул неуспокоенный. После побудки его

вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы.

— На вид, — сказала она, — хороший боец. А вчера тошно смотреть было. Как рыжий в цирке.

Жора осторожно молчал.

— С винтовкой обращаться умеете? — спросила Бондарчук.

Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы! Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул:

— Второго года службы, товарищ старший сержант... Учили.

— Не знаю, — ответила Бондарчук, — многому придется переучиваться. Снайперское дело иногда не столько стрельба, сколько умение ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дожидаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдемте.

Жора покорно поплелся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нем, он начал сознаваться самому себе, что сержант — командир хоть куда.

Они пробрались к замаскированной снайперской ячейке на гребне холма. Внизу, белая от пыли, струилась, как речка, проселочная дорога. Вдоль нее валялись поваленные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливняка. Бондарчук показала Жоре на эти заросли.

— Вот, пробирайтесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заляжете и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь, блеснет что-нибудь, дымок пой-

дет — запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо... Все ясно?

— Ясно, — хмуро сказал Жора.

— Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас, то есть, когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь! Я буду вас ждать здесь. И имейте в виду — там довольно опасно.

Жора вскинул голову, как конь, которого дернули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она, в самом деле, думает о нем, эта... чайная роза! И он огрызнулся:

— Не в таких переделках бывал, товарищ старший сержант. Воевать — не скумбрию на сковородке жарить.

Но Бондарчук не захотела понять дерзкого намека на домашнее хозяйство:

— Ладно! Меньше слов — больше дела! Это еще Суворов говорил. Выполняйте приказание.

Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его без всяких приключений, заметил под изогнутым стволом терна неглубокую ямку, забрался в нее и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним струилась та же дорога. На ней темнело несколько опаленных воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше над дорогой вздымалась отвесная бело-желтая, с потеками от дождей, скала. Ее мягкий камень пилили дровяными пилами для сева-стопольских построек. В ней чернели узкие дыры — это был северный край Инкерманского пещерного города. Напротив Жоры подымался такой же

поросший диким сливняком склон, и по нему змеился, сбегая книзу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а еще дальше вставали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда была по городу немецкая артиллерия.

Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затыкала.

Жора всмотрелся и увидел на ее шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел ее. И у него возникла мысль приманить ее и отвести в батальон — все-таки забава для ребят. Он тихоночко засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка по-прежнему подпрыгивала на месте и тывкала, не слыша призыва. Жора приподнялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушенный, он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что это каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял ее и увидел на левой стороне козырька косую рваную пробойну

с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть правее — и пробоина была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белесое облачко пыли.

Но теперь Жора успел заметить взблеск выстрела на краю кювета, рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тьякала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка.

— Пожди, господа бога свиной огрызок, — прошептал он, белея от обиды и злобы: — пожди!

Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из ее пробитого тела клочьями полетела ватная начинка.

— Ага, выложил твоего кобелька, спортил гансу породу, — злорадно усмехнулся Жора.

Немец тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жоры целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и черное дуло автомата и серо-зеленое плечо и склоненную к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло.

— Маринованный баклажан по-советски кушал? — сказал Жора сквозь зубы и отер потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернело дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, по-пластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего тела, как две пули настигли его с разных сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая

ожгла левое плечо. Это заставило его стремглав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод гансов пялит на него буркалы.

Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью.

Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нем, Жоре Фемелиди, пели в Балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках, обвешанных ятаганами и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил Балаклаву. И все его тело запротестовало против смерти. Слишком мало еще он прожил, слишком мало отведал раннего кисловатого молодого вина, слишком недолго любил огненнооких балаклавских девушек. И в нем поднялась тяжелая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут западня. Так, небось, не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И еще раскалила намеком на опасность. У, чортова кукла! Сидит теперь спокойненько в гнезде, и мало ей заботы, что тут погибает краснофлотец Фемелиди, двадцати двух лет.

Он чуть приподнял голову, чтобы по крайней мере определить, где могут находиться враги, и это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком черкнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лег ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая ее. И в этот миг над самым его ухом оглуши-

тельно лопнул выстрел. Жора рванулся вбок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза.

— Живы? — спросил знакомый грудной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры — Лежите тихо, не двигайтесь... Одного уже сняла.

Жора притих. Он видел, как положенное на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе немец. Листва затряслась, и сквозь нее Жора увидел двоих бегущих из своей засады. Третий выстрел срезал одного из них на бегу. Четвертый успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов.

— Вот сволочь! — огорченно сказала Бондарчук. — Уплелся... перетянула с прицеливанием... Да вы что, ранены? — быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепешку крови на его плече.

— Чиркнуло, — небрежно проворчал Жора, обретая прежнюю лихость, — до свадьбы...

Ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнулась и разорвалась тяжелая мина. Черный дым призрачным монахом недвижно и плотно встал в воздухе, и мгновение спустя сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камни. И, вслед за взрывом, по сливняку, как вода из шланга, туго хлестнула пулеметная струя.

— Ого! Всерьез обиделись... А ну, ходу! — крикнула сержант Бондарчук и, скорчась в три погибели, бросилась в чащу сливняка. Преодолевая боль от толчков в раненом плече, Жора

мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать свое мнение.

— Мы ж не той дорогой идем, товарищ старший сержант.

— Знаю, что не той. Той нельзя уже. Она вся простреливается. Пойдем обходом. Можете идти?

— Чтоб Жора Фемелиди не мог идти из-за кошачьей болячки? — сердито сказал Жора.

Они карабкались сквозь колючую чащу еще минут десять. Шипы терна вырывали лоскутья из одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли скончились над обрывом.

— Давайте вниз! — сказала Бондарчук и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его и показалась Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчелы.

Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперед, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивалась, горя на солнце, как волшебная чаша из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза.

Он смотрел на нее, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель.

— Ну, выбрались... Теперь в порядке, — сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на

свои кровоточащие руки, изодранные колючками терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре.

— Вас перевязать надо... Что вы так на меня уставились? — спросила она с гримаской, увидя устремленные на нее блестящие антрацитные шаррики.

Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавский грек. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперед.

— Вот такая штука, — сказал он, — вчера вышло недоразумение. Так давайте, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жора Фемелиди не такой человек. Жора все понимает... Даю руку на вечную морскую дружбу...

Сержант Бондарчук посмотрела на стоящего перед ней долговязого парня со сверкающими преданностью глазами, и в синих зрачках ее пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлепнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры.

— Ладно, снайпер из вас выйдет.

— Разрешите, я вам эту эмблему приспособлю.

И Жора бережно всунул в кармашек гимнастерки сержанта чайную розу. Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся. Но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он сперся на нее, и так, рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб — дружбой, рожденной в бою, они пошли к своим.

ХОРОШАЯ ПЕСНЯ

Очередь!.. Очередь... Еще очереди!

Свинец пронзительно шелестел, распарывая воздух. Он, как серпом, резал под корень желтые сухие стебли кукурузы и людей, которые перебежали между стеблями.

Больше, кажется, в кукурузе незаметно никакого шевеления. Те, которые уцелели от шелестящих струй свинца, залегли в страхе, стараясь втиснуться в рыхлую землю, стать плоскими, как лист бумаги.

Федоров отнял ноющий палец от гашетки и тоскливо посмотрел на горячее небо. Который может быть час? Это уже пятая с утра атака.

Едкая капля пота сорвалась с брови на веко и расплылась в глазу щиплющей болью. Тылом ладони Федоров протер глаз и огляделся.

Утром их было девять в этом окопе.

Теперь семеро уже лежали, скорчась, на его липком от крови дне. Утром у них у всех были разные лица. Их можно было легко отличить друг от друга по различному цвету глаз, по улыбке, — хмурой у одного и детски радостной, открытой у другого, по свойственному каждому из них излюбленному жесту, по звуку голосов. Сейчас они лежали обескровленные, объединенные и уравненные общей прозрачной бледностью воска, и, смотря на них, Федоров начинал уже путаться, не понимая, кто же из этих мертвецов крутоплечий здоровяк, бывший комендор «Свирепого», Левченко, кто худощавый и слабосильный электрик «Парижской Коммуны», в прошлом студент Академии художеств Самусь.

Федоров отвел глаза от трупов товарищей и поежился.

Кругом было тихо. Умолкла стрельба. Только издалека слева доносились одиночные, отвеваемые ветром хлопки выстрелов, да глухо бурчал, перекатываясь по камням долины, неумолчный Терек.

Внезапно Федоров услышал за спиной частое дыхание, похожее на храп запаленной лошади. Он с недоумением обернулся, едва успев подумать: «Откуда лошадь?»

Но никакой лошади не было. Это дышал Саенко. Он сидел, прислонясь затылком к глинистой стене скопа, и его вытянутые руки свисали вниз негибко и безжизненно, как у куклы.

Румынские пули пробили ему оба плеча, и он перестал ощущать свои руки и владеть ими. На вопросительный, полный тревоги взгляд Федорова, он попытался ответить бодрой улыбкой, но из этой попытки ничего не вышло. Губы его дрогнули, расплылись и смялись в виноватую гримасу. Он насупился, вскрикнул и хрипло выговорил:

— Страть на меня патрон... Отыгрался я, Костя... Так не дай, чтоб меня замучило румынское воронье.

У Федорова все перевернулось в душе от неузнаваемого хрипения друга. Но, резко и гневно — он понял, что нужно ответить именно так, — он крикнул:

— Что?.. Без прений отклоняется... Наша опера не кончилась. Понятно?

Весь перекосясь от муки, Саенко попытался оторвать от земли кисти рук, но они только чуть поднялись и беспомощно упали, стукнув, как деревянные.

— Ты ж видишь, — простонал Саенко, — что я ничего не могу... Не боец я уже. У, гады!

Саенко заскрипел зубами и закрыл глаза. Одинокая, злая слеза повисла на его ресницах и не срывалась с них, как стеклянная. Федоров смотрел на него с испугом и жалостью — так непохож был этот поникший человек на того, прежнего Саенко, весельчака, запевалу, хозяина чистейшего хрустального голоса, который звенел вечерами на привалах, разливаясь широким потоком песни. И, вспомнив эти песни Саенко, от которых замирала в тишине, прислушиваясь к легко льющемуся напеву, вся рота, Федоров внезапно сказал:

— Чего не можешь?.. Биться не можешь... Ну, ясно... А петь можешь?

Саенко открыл глаза. В них, застланных горькой дымкой, дрогнуло изумление:

— Петь? Зачем петь?.. Ты что — одурел?

Но Федоров упрямо мотнул головой.

— Нет, не сдурел... Я буду их стрелять. Пока жив — буду стрелять. Патронов не будет — зубы свои вырву. Зубами буду винтовку заряжать. И все буду стрелять. А ты пой, чтоб мне легче было. Понятно?

Но Саенко все еще смотрел на Федорова туманным взглядом.

— Ну, понимаешь, двое нас только осталось... И надо мне, чтобы друга рядом чувствовать. Трудно человеку в одиночку конец принимать. А голос твой, Саенко, мне как костыль будет.

И Саенко, наконец, понял. Мягкий свет стер туман его зрачков, и он кивнул.

— Ладно... Попробую... Уж как выйдет, — он болезненно скривился. — Нет у меня сейчас прежней силы.

Он поправился и сел прямее, упираясь в сухую глину.

— Ты не надсаживайся, — ласково сказал Федоров, — пой, как можешь. Чтоб только я тебя слышал.

Федоров нагнулся и подобрал винтовку Саенко, положив ее рядом с собой. Отстегнул и снял с него пояс с подсумками. Потом проверил диски. Их оставалось три.

И, едва он отдал себе отчет, что этого хватит не надолго, как кукурузное поле начало опять оживать. Федоров увидел среди стеблей румынского офицера. Переползая на коленках, он, ругаясь, колотил палкой по задам и спинам залегших солдат, принуждая их подняться.

— Пой, Петро, — крикнул Федоров, — начинаем наш последний концерт.

Он вжал в плечо приклад РПД и поймал на мушку мельтешащую в кукурузе офицерскую фигуру.

— Да-да-да, — скороговоркой отозвался нажиму пальца на спуск пулемет, и офицер опрокинулся сперва на бок, потом на спину. Поднятые его колени сжались и раздвинулись. Для верности Федоров еще раз нажал гашетку.

Эхо выстрелов угасло, и тогда за спиной Федорова внезапно зазвучал, надтреснутый болью, слабый, но попрежнему теплый, хватающий за сердце, грудной, неугомонный, как жизнь, голос.

Саенко затянул свою любимую старую казачью:

Поехал далеко казак на чужбину
На добром коне вороном,
Свою Украину навеки покинул,
Ему не вернуться в отеческий дом.

Пулемет Федорова молчал, и все притихло, пораженное этим голосом, возникшим на поле смерти, наперекор смерти.

Но, разрывая тишину, из кукурузы, визжа, пронеслась мина и разорвалась у бруствера, осыпав окоп комьями земли. Опираясь на локти, загребая землю по-тюленьи, серо-зеленые румыны подползали, сминая стебли, стягивали полукольцо вокруг окопа.

А голос Саенко плыл и таял над степью в мерцании накаленного воздуха. Подхваченный волнующим стенанием песни, Федоров вел огонь, и пули пришивали к земле вражеских солдат.

Холодок злобы и странного, никогда ранее не знакомого озноба, похожего на дрожь небывалой радости, пробегал по телу Федорова. Он нажимал гашетку, шепча сквозь сухие, оскаленные зубы:

— Нашей пшенки захотели? Ешьте, румынцы, по зернышку. Тяжелое наше зерно для вашего пуза.

Мгновениями глаза ему застилало влагой от все растущего волнения, но ненависть продолжала наводить за него дуло пулемета.

И, наконец, пулемет задохся. Последний диск отработал свое. Оставалась винтовка Саенко и патроны, которые Федоров собрал у мертвых и у Саенко. Он знал наизусть, что их только шестьдесят три. Близился конец, но сознание этого не вызвало в Федорове ни страха, ни слабости.

«Ему не вернуться в отеческий дом, — подумал он о себе словами песни, — но и вы ж не вернетесь с нашей земли до своих баб, скрипачи!»

Взяв винтовку Саенко, раскаленную солнцем, он вогнал в коробку обойму и удовлетворенно посмотрел на кукурузное поле, где лежали румынские солдаты, которым уже не суждено было вернуться.

Он прикинул в уме примерный результат боя. Не считая того, что было утром, они вдвоем, пока не ранили Саенко, положили на этом поле до восьмидесяти румын. Да сейчас он прибавил пятерых. Таким счетом можно было бы обрадовать роту. Федорову стало на миг грустно, что он больше не придет в роту и не увидит никого из тех, с кем сжился в боях. Но он отогнал эту мысль. Сейчас нужно было только драться. Еще уложить десяток врагов, а тогда и умирать не жалко.

Над стеблями кукурузы неожиданно поднялся штык с наколотой на нем белой тряпкой и закачался в воздухе. Жестяной чужой голос прокаркал на ломаном русском языке:

— Эгей!.. Нэт стрилать! Слушайт наш предложэний.

— Занятно! Слышишь, Петро, — спросил Федоров, не оборачиваясь к Саенко, — кажись, румынцы хотят сыграть нам цыганский вальс на скрипках... Послушаем.

Федоров закричал туда, где качался штык:

— Ну, говорите, коли еще языков не откусили.

— Наш предлагать довольно сражении, — каркал из кукурузы румын, — за ваша храбрости мы оставлять вам жить.

Федоров громко засмеялся.

— Отклоняется без прений, единогласно, — ответил он румыну своей любимой прибауткой, — показывайте лучше, на сколько ваших стертых медяков можно купить храбрости у вас?

Штык с тряпкой упал вниз. Крича, Федоров неосторожно высунулся, и пуля вспорола ему рукав гимнастерки и кожу от кисти до локтя. Он ссунулся вниз, взглянул на кровь, капающую с локтя, и ответил выстрелом. Тонкий вопль прозвучал из кукурузы, и его покрыл треск автоматов, которые зачастили из-за стеблей.

— Вывел ихнего солиста, — усмехнулся Федоров. — Пой, Петро, пой опять.

Опять взвился надтреснутый голос Саенко. Снова захлопала винтовка Федорова. Но настал черед истощиться и винтовочным патронам. Румыны, видимо, почувствовали это по большим промежуткам между выстрелами.

В нескольких местах сразу они поднялись и побежали напрямик, криком подбодряя себя. Последними тремя пулями Федоров свалил троих. Остальные попятились.

Еще раз с холодящей тоской Федоров поднял голову. Солнце уже перешло зенит и медленно ползло к западу. А помощи все нет и, наверное, уже не будет.

Федоров сдвинул на живот сумку и достал две

гранаты. Это было последнее оружие. И песня Саенко, певшаяся уже второй раз, подходила к концу, — бесконечно грустная старая песня о судьбе казака:

А дома казачка его молодая...

Гранаты лежали на ладони Федорова, тускло поблескивая краями нарезанных долек. Но он не успел насмотреться на них. Румыны опять ринулись к окопу. Подбегая, они инстинктивно сжались в кучку, и Федоров метнул гранату в середину этого срущего на бегу потного мяса.

За хлестким громом взрыва он услышал стоны румын и истекающую песню Саенко. Саенко сидел с закрытыми глазами, и с каждой нотой голос его становился тише и глуше, будто сам Саенко быстро уплывал в сонное, тихо шуршащее о пляж море.

Федоров облизал запекшиеся губы. В руке была еще граната, и он раздумывал, что лучше: кинуть ли и ее в румын, или обнять Саенко, положить гранату между ним и собой и выдернуть чеку?

Но в последний миг этого томительного раздумья в сознание его ворвались новые звуки. Это были крики и топот бегущих ног. Первой мыслью было, что румыны обошли и вырвались к окопу с тыла. Но, вскинув глаза, Федоров вздрогнул. Перед ним замелькали родные бескозырки, засверкало выцветшее в боях золото на ленточках.

Прыгая через окоп, над ним промчались в кукурузу краснофлотцы. Тогда Федоров схватил винтовку, выкарабкался из окопа и, чувствуя, как обрадованное сердце распирает ему грудь и несет над землей на крыльях, побежал вдогонку товарищам.

Когда он вернулся, качаясь на дрожащих ногах,

взмокший, тяжело дыша, Саенко сидел в той же позе, склонив голову на плечо. Он был без сознания, но рот его все еще был раскрыт и шевелились губы, словно и в бреду он старался выпевать беззвучную уже песню.

Федоров спрыгнул в окоп, опустился на колени возле Саенко, приподнял тяжелую голову друга. Заскорузлой от земли и пороха ладонью он любовно отер капли пота с его влажного лба и, смотря в пожелтелое лицо, прошептал:

— Будет, Петро! Отдыхай... Спасибо. Хорошую спел ты песню, а хорошая песня в бою помогает... Отдыхай, друже!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Старуха	3
Подвиг	12
Подарок старшины	46
Большое сердце	57
Полосатая смерть	66
Железный крест	75
Последний заплыв	83
Встреча	95
Портрет	102
Деталь	110
Чайная роза	119
Хорошая песня	131

Редактор С. Горский

Подписано к печати 30 апреля 1943 г. А453. Тираж
25 000 экз. 4³/₈ печ. л. 5,75 уч.-авт. л. Зак. № 3620.
Цена 3 руб.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста
„Полиграфкнига“. Москва, Валовая, 28.

3 руб.